

ПРОБЛЕМЫ ТИПОЛОГИЗАЦИИ ТЕКСТОВ И ИССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ТЕКСТОТИПОВ

УДК 81'373.46

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ТЕКСТ В СОВРЕМЕННОМ КОММУНИКАТИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

А.С. Белая
(Нежин, Украина)

Специфика политического текста заключается в том, что его лексический уровень представлен специальной терминологией – социальной (общественно-политической). В докладе рассматриваются вопросы функционирования социальной терминологии, её роль в отражении культурных (политических и идеологических) ценностей современного социума.

Любой текст, как «основная единица коммуникации» [1, 124], может быть представлен с разных сторон (тематика, структура, функционирование, авторство, жанровое многообразие, прагматика), что даёт возможность говорить о типах текстов в коммуникативном пространстве, где проявляется социальная и профессиональная деятельность членов социума. Тексты художественные, научные, рекламные, эпистолярные и другие со всем их жанровым многообразием фиксируют и передают всестороннюю информацию о мире. Каждый из них отличается своеобразием языковых средств, используемых не только для фиксации разного рода информации, но и для осуществления коммуникации в социуме. В таком процессе реализуется, прежде всего, задача представления системы ценностей общества. И это есть задача политического текста, изучению которого уделяется большое внимание на современном этапе. Такой интерес к особенностям вербальной коммуникации в социуме вызван рядом причин: изменение политической обстановки в стране, экономические реформы, изменение социальных и национальных ориентиров, дифференциация функций языков в многонациональном социуме и все те процессы революционных изменений, которые стали приметой конца XX – начала XXI веков во многих странах.

В условиях многоязычных стран коммуникативную языковую базу составляют наиболее распространенные языки или те, которые конституционно наделены функциями государственного или официального средства общения. Так, в условиях современной Украины вопросы межкультурной коммуникации на разных уровнях (бытовом и официальном) требуют всестороннего освещения, прежде всего, в языковом отношении. На бытовом уровне отмечается свободное функционирование и преобладание национального украинского языка даже в тех регионах, где он до недавнего времени уступал позиции русскому. Такое предпочтение отдается украинскому языку, что вполне естественно, с тех пор, как стал действовать закон о едином государственном языке и когда вся государственная деятельность стала осуществляться на национальном языке. На официальном уровне коммуникации требуется наиболее глубокое и тщательное исследование языковых средств, которые используются для описания социальных реалий. Как отмечают некоторые авторы, в медийном дискурсе «сложилась система культурно-языковых соответствий, обус-

живающих коммуникативные нужды членов лингвокультурологического сообщества» [2, 22].

В политическом тексте языковая картина представлена богатой социальной терминологией, которая формируется под воздействием двух языков, функционирующих на Украине – государственного украинского, и неофициального языка общения – русского. Однако статус русского, как международного языка, сохраняет за ним роль, на базе которого формируется социальная терминология, активно участвующая в процессе описания действительности и в процессе формирования языковой компетентности членов социума.

Политический текст можно рассматривать с разных точек зрения, определяя его задачи, цели, типы, но основным, безусловно, остается вопрос о выборе языковых средств, с помощью которых представлена вся информация о социуме, динамика этапов его развития, отчетливо просматривается их номинативная и аксиологическая функция. Выбор языковых средств в политическом тексте целенаправлен, так как сам текст всегда имеет прагматическую ориентировку, создаёт условия для определённого восприятия действительности. Функционирование социальной терминологии в конкретный период развития общества делает её социально востребованной и «обуславливает культурологическую маркированность этого, на первый взгляд, нейтрального пласта лексической системы» [3, 19]. Можно говорить, таким образом, о специализации способов передачи информации в политическом тексте. Отмечаем особенности употребления языковых единиц и языковых форм, варьирование типов номинации, создание необычных метафорических сочетаний, антонимических структур, описательных многокомпонентных словосочетаний и др.

Информируя читателя о происходящих процессах в социуме, политический текст вместе с тем и оказывает влияние на языковую компетенцию членов общества, пополняя их лексический запас новыми терминами, раскрывая специфику семантических процессов в системе терминологии. Освоение многообразной лексики и терминологии, называющей реалии современного мира, способствует расширению коммуникативного пространства, в которое вовлекается большинство носителей языка или языков в полиязычных странах. В этом процессе современные СМИ рассматриваются как важней-

ший фактор межкультурных коммуникаций, этой особой области человеческих отношений.

Прагматическая направленность любых текстов современных СМИ является их яркой отличительной чертой. Стилистическая и оценочная функции языковых средств, как разновидности прагматической функции, отличают социальную терминологию, составляющую основу любого политического текста. Аксиологические аспекты (оценочность, эмоциональность, экспрессивность, образность) терминов обусловлены спецификой политического текста, которую, в свою очередь, формирует наличие специфической терминологии – социальной (общественно-политической).

Оценочность социальных терминов носит характер социальной маркированности. Она идеологическая по своему воздействию на читателя и отражает субъективную оценку автора текста. Так, в современном социо-культурном коммуникативном пространстве на страницах СМИ активно употребляются идеологически оценочные слова и терминологические словосочетания: гуманитарный конвой, капитаны украинской экономики, европейский вектор, паралич власти, натовские планы, майдановский рух, «Еврооптимисты» (это фракция, о создании которой было заявлено на заседании Верховной Рады 4 февраля 2015 года), слова разговорного типа – атошники (от слова АТО – антитеррористическая операция) и др.

Специфика функционирования социальной терминологии в русскоязычных текстах украинских СМИ обусловлена языковой ментальностью разноязычных коммуникантов. Язык современных СМИ Украины отличается обилием заимствованных слов, транслитерированных и оригинальных, активным словотворчеством на базе национальных и заимствованных слов, созданием описательных, полилексемных языковых единиц для наименования разных социальных реалий. Актуализации терминов в текстах СМИ и в речи коммуникантов способствуют экстралингвистические факторы.

От коммуникативных целей и задач зависит структурно-смысловая модель разных текстов. Политический текст всегда имеет публицистическую направленность, что и определяет особенности его языковой номинативной системы. События, происходящие в какой-либо стране, находят отражение в языке. Так, в период «бензинового кризиса» в Украине (лето 2004 года) в активном употреблении были многочисленные образования: бензиновые мошенники, прыжок цен, твёрдая гривна, экономические провокации, живые деньги и др. О событиях в Украине 2014–2015 гг. свидетельствует сложившееся в русском и украинском языках большое количество актуальных языковых единиц, которые отличаются конкретностью, современностью, информативностью, благодаря чему они стали неотъемлемой частью богатого словаря современных коммуникантов: евроинтеграция, европарламент, евровектор, герои Майдана, постмайдановские настроения, Майдан достоинства и др.

Значительное место в лексиконе современных коммуникантов занимает социально маркированная терминология, называющая реалии сегодняшнего дня, формирующая общественное мнение, воздействующая на сознание членов общества, их психологию и поведение. В этом процессе в лексикон коммуникантов попадают не только образования на основе родного языка, но и масса заимствований, адаптировавшихся в наших языках. Их своевременность, конкретность, а нередко и экспрессивность выделяют термины в политическом тексте, подчеркивают их коммуникативную значимость: демократия, декларация, демагогия, автократия, партия войны, партия мира и др. Всестороннее изучение социальной терминологии показывает, что её развитие в новых социальных условиях происходит интенсивно и порождается всем ходом развития языка. В ней находит отражение каждый новый этап в жизни социума, поэтому так важно изучить и выявить особенности функционирования специфической терминологии в политической коммуникации.

Литература

1. Кучинский, Г.М. Мышление и диалог / Г.М. Кучинский. – Минск, 1983.
2. Иванова, С.В. Лингвокультурологический аспект исследования языковых единиц: автореферат дисс... докт. филол. наук / С.В. Иванова. – Уфа, 2003.
3. Губик, С.В. Когнитивно-дискурсивное исследование английского экономического масс-медийного дискурса (на материале журнала «The economist»): автореферат дисс... канд. филол. наук / С.В. Губик. – Уфа, 2006.
4. Белая, А.С. Особенности функционирования социальных терминов в средствах массовой информации Украины // Язык и коммуникация в контексте культуры: материалы V Международной научной конференции. – Рязань, 2010.

УДК 82

ЭГО-ДОКУМЕНТЫ: МЕМУАРНОЕ ПИСЬМО

А.Б. Бушев
(Тверь, Россия)

Предметом нашего внимания в этой статье выступает Эго-дискурс как протоматериал журналистики, материалом – интереснейшие книги мемуаров. Исследование Эго-документов – это попытка посмотреть на источники личного происхождения, свидетельства людей о себе – многочисленные образцы эпистолярного жанра, фотографий, дневников, мемуаров. Сюда же относятся доклады, народные традиции, слова на юбилеях и панихидах, записи, судебно-следственные дела, заметки на полях, фольклор, семейные архивы. Мемуарное начало в современной журналистике сводимо к части художественных жанров журналистики: они требуют личного начала, личного свидетельства и эгоцентричны. Этим эти жанры сродни литературе нон-фикшн, между очерком и эссеистикой и мемуаристикой нет непреходимых границ.

Историки настаивают на значимости конкретного, единичного при изучении повседневности [3], [4], [16], [18], [19], [23], [26], [28], [29]: «Открытие сферы повсе-

дневности в историческом знании в 1960 – 70-е годы было вызовом, теоретическим и политическим, традиционному историческому знанию о «великих событиях», «ве-

ликих людях» и «больших структурах» [15, 12]. Новые теоретические ориентиры (микроистория, устная история, «история снизу») как нельзя лучше отвечают этой задаче. Для качественных исследований, которые опираются на опыт культурной антропологии, важными становятся многочисленные свидетельства человеческого опыта: письма, дневники, повседневные нарративы. **Предметом** нашего внимания в этой статье выступает Эго-дискурс как протоматериал журналистики, **материалом** – интереснейшие книги мемуаров.

При этом мы понимаем, что история повседневности – часть общественной истории, она «принимает различные обличья»: семейной истории, истории частной жизни, истории труда и досуга, локальной истории, истории отдельных социальных групп и профессий, истории питания и потребления, истории телесности. Повседневность противопоставит не только истории как связному, линейному и однонаправленному процессу, но и истории как рассказу: «В текстах по повседневности [...] обращает на себя внимание стремление к избыточно подробным описаниям, длинным перечислениям, бесконечным наименованиями, которые как бы не требуют действия и самим своим присутствием нечто значат. Можно говорить о картинности как стратегии письма о повседневности, тяготении его к экфрасису, отказу от событийности, нарратива, застывании повествования» [15], [14].

Мемуарное начало в современной журналистике сводимо к части художественных жанров журналистики: они, в отличие от информационных и аналитических, требуют личного начала, личного свидетельства и эгоцентричны. Этим эти жанры сродни литературе нон-фикшн, между очерком и эссеистикой и мемуаристикой нет непреходимых границ. И именно эти жанры исчезают из сегодняшней журналистской практики, именно в них, являющихся мериллом авторской журналистики, ощущается сегодня наибольший дефицит. Мемуарное начало в журналистике по прошествии определенного количества лет активизировалось в связи со стремлением вспомнить ускользающее время, на глазах становящееся историей – проект Парфенова «Намедни» о жизни в СССР, передача Гурвича «Коммунальная квартира», многочисленная тележурналистика, связанная с ушедшей эпохой, телепроект Л. Каневского об уголовных преступлениях прошлых лет, исторические очерки в газетной и журнальной журналистике. И это не только собственно исторический очерк, а и коллоквиальная история, краеведение, история семьи, криминальная история и т. д. А самое главное, что и фикшн (например, Д. Драгунский, Т. Толстая, Э. Лимонов, С. Довлатов, М. Веллер) тоже посвящает свои страницы эго-нарративным мемуаристским материалам, идет вслед за нон-фикшеном (здесь можно назвать и В. Вульфа, и В. Шендеровича, и В. Третьякова). Это позволяет говорить об общности авторских стратегий («Я вспоминаю...»).

Наши исследования русской языковой личности касались как собственно особенностей литературы и нон-фикшена в социализации читателя [1], [27], так и таких способностей русской языковой личности, как коллоквиальность, метафоричность, способность понимания юмора и языковой игры, интертекстуальность, метаирония над стереотипами, мультикультуральность, смена концептов, отличающих письмо двадцатого века [6], [10], [11], [12]. С целью их обсуждения нас привлекали особенности идиостиля письма в прозе В. Набокова, Ю. Нагибина, Т. и Н. Толстых, С. Довлатова, С. Минаева, кинорежиссера А. Кончаловского, историка Н. Лео-

нова, известница Э. Поляновского, В. Павловой, Е. Рейна, Р. Литвиновой, В. Аксенова, Д. Лихачева, В. Солоухина, В. Судейкиной-Стравинской, С. Щербатова, художника В. Сурикова, старых петербуржцев Д. Засосова и В. Пызина [7], [8], [9], [13], [14].

Эго-документы, эго-нарратив мемуаристики... Очевидно, сходные стратегии – но не от первого лица, а как бы в образе персонажа – разрабатываются для «вторичных эго-текстов» – это многочисленные бытующие в современной массовой культуре тексты жанра «байопик», биографизм, глянецовый журнал «Биография», «ЖЗЛ» – множественные публикации о деятелях советского прошлого (серия публикаций писателя А. Варламова, Д. Быкова, В. Новикова и т. д.).

Ряд эго-текстов вошли в заповедный фонд русской культуры. Так, например, на недавней выставке сезанистов великолепные испанские картины «Матадорья», «Бой быков» и «Испанский танец» заставляли вспомнить автобиографическую прозу Н. Кончаловской о Провансе, Италии и Испании и мемуары А. Кончаловского о П. Кончаловском в Буграх, также как лентуловские «Зонтики» и купринский «Портрет негрятки» заставляли вспомнить так резко оборванное Русское Возрождение – русский серебряный век...

Каковы же они, эго-свидетельства, известные в русской и мировой культуре?

10 октября 2014 года в Твери проходила работа международной научной конференции «Эго-документальное наследие российской провинции XVIII–XXI веков. Проблемы выявления, хранения, изучения, публикации». На конференцию собрались российские историки, обществоведы, работники архивов – те, кого профессионально занимает воспроизводство и расширение знаний о прошлом, те, кто собирает историческую память. Это, стало быть, попытка посмотреть на источники личного происхождения свидетельства наших соотечественников о себе – многочисленные образцы эпистолярного жанра, фотографий, дневников, мемуаров, оставленных нашими соотечественниками в восемнадцатом – двадцать первом веке. Сюда же относятся доклады, народные традиции, слова на юбилеях и панихидах, записи, судебные дела, заметки на полях, фольклор, семейные архивы. Эти источники субъективны, имеется специфика их исследования, ведутся споры о том, что относить к таким источникам. Например, историки спорят о том, являются ли эго-документами свидетельства не только о себе, но и о других, о другом – о социальных событиях, которым авторы были очевидцами.

Свидетельства человеку миру о себе, быть может, и не предназначенные для чужих глаз и нуждающиеся в особой политике архивирования... Либо рассчитанные на читательское внимание, с прицелом на вечность – с таким, что ни говори, пафосом пишутся мемуары о себе, любимом. Тяжело разделить публичное и личное, не предназначенное для чужих глаз и тщательно рассчитанное на читателя. С дальним прицелом на читателя вел свои дневники царский цензор Александр Никитенко, скрупулезно фактографируя происходящее. Известны лучшие книги этого жанра – «Исповедь» Блаженного Августина, «Жизнь» Бенвенуто Челлини, «Опасные связи» Шодерло де Лакло, «Признания» Руссо, переписка Элоизы и Абеляра, «Тайный дневник» Льва Толстого, предназначенный для публикации «Дневник писателя» Достоевского, «Былое и думы» Герцена...

Эго-документы создавал деятель всех эпох. Петровский корабель и артиллерист, екатерининский вельможа, дворянин девятнадцатого века – вольтерьянец, вольно-

думец, «лишний человек», пришедший ему на смену и вышедший на авансцену истории в конце девятнадцатого века новый человек, разночинец, – все они оставили эго-свидетельства о себе. От первого лица... Метившие в историю и нет, рассчитывавшие на последующее оправдание. Опубликованы дневники, которые вел Николай Второй – и пусть говорят историки, что это наспех изготовленная фальшивка – всякий может судить о масштабе его личности по ним.

Рассыпанные по страницам века двадцатого эпистолы, дневниковые записи для себя Порой их писать было небезопасно. Документы эти только прорываются к читателю. Чего стоит например. «Дневник» театрального деятеля Любови Шапориной – для меня лучшее свидетельство жизни интеллигенции в тридцатые – пятидесятые годы двадцатого века. На вооружение многими издательскими берутся эти дневники – вспомним недавний успех «Подстрочника» Лилианы Лунгиной.

Но интересное – это вовсе не только подцензурное. Значимые, интересные свидетельства сынов века заключаются в военных дневниках. Безыскусны, но как искренни и сильны военные письма – свидетели солдатского подвига. Участники конференции рассказывали про новейший воинский памятник в Мышкине, где на гранитной стеле приведены личные письма погибшего война своим детям. Страшен известный дневник похороненной на Пискаревке девочки, погибшей от голода в осажденном Ленинграде.

О мысли в страшные годы сталинской тирании дают представление дневники Владимира Вернадского. Известны дневники Ольги Бергольц, Александра Твардовского, Константина Симонова...

А возьмите письма русских изгнанников, дневники эмигрантов, их мемуары. Целый мир, приоткрывшийся через их сбивчивые, личные свидетельства. Возьмите «Мой век» Зинаиды Шаховской. Неслучайно, Александр Солженицын предпринимает попытку публикации многих мемуаров эмигрантов в библиотеке дома «Русское зарубежье» в Москве. Сохранить, пока живы свидетельства. А возьмите строки Бориса Савинкова, Антона Деникина. Вспомним ставшие хрестоматийными строки века из «Коня вороного»: «Мы вошли в Бобруйск на заре. Радости не было. Русские убивали русских». Мемуары могут быть оставлены людьми, не метившими историю, и тогда они интересны не как личности, а как социальные типы [2], [17], [20], [24], [25].

Широко известны дневники Михаила Пришвина, «Дневник» Юрия Нагибина, разорвавшийся бомбой после смерти автора в перестроечной Москве. Он, впрочем, готовился тщательно, с мыслью, с прицелом на публикацию, как и книги Майи Плисецкой, Галины Вишневской, Людмилы Гурченко (например, изданные недавно [5], [21]). Возникло направление «актерская книга» – М. Козаков, Е. Весник, О. Аросева, Т. Дороница, А. Ширвиндт, В. Смехов, Золотухин, В. Васильева, Н. Мордюкова, Л. Смирнова, В. Талызина, А. Демидова, В. Рецептер, письма А. Степановой к Н. Эрдману. Особую когорту составляют дневники и мемуары деятелей киноискусства – Э. Рязанова, С. Соловьева, А. Тарковского, Г. Данелии, А. Кончаловского. Эти книги, вышедшие в последние годы продолжили линию театральных мемуаров – известны книги Е.Н. Гоголевой, А.К. Тарасовой, С.В. Гиацинтовой, С.С. Пилявской,

С.В. Образцова. Обстановку дореволюционного и первого послереволюционного времени живописуют свидетельства С.Н. Дурилина, П.П. Перцова, Ф.И. Шаляпина, А.И. Цветаевой. Ценны дневники художников – К.А. Коровин, В.И. Суриков, М.В. Добужинский, Н.А. Удальцова, П.Н. Филонов, мемуаристов художественного андеграунда – Н.М. Молева, Г.И. Маневич.

Из политиков оставили интереснейшие мемуары оставили В.В. Шульгин, А.Ф. Керенский, П.Н. Милюков, С.Ю. Витте. Более близкое нам время описывают мемуары Н. С. Хрущева, Л.М. Кагановича, Б.Н. Ельцина, Б.Е. Немцова, И.М. Хакамады

Историков диссидентства и протеста привлекают книги А.А. Зиновьева, Р.Д. Орловой и Л.З. Копелева, Л.М. Алексеевой, П.Г. Григоренко, А.Д. Сахарова, А.И. Солженицына, Л.К. Чуковской, Н.Я. Мандельштам, Э.Г. Герштейн и других. От последних – уже шаг к эго-свидетельствам другой эпохи: НН. Берберова, В. Одоевцева, А.Н. Вертинский, И.Г. Эренбург...

Интересное наследие оставлено учеными – от дневников В.О. Ключевского до дневников А.Я. Гуревича, М.Я. Гефтера, знаменитого пятитомника «Историки об историках» [22].

Редки дневники мемуары буржуазии – Н. Варенцова, «Автобиография» Г. Форда, автобиография М. Тэтчер, мемуары У. Черчилля.

Известны и локальные, провинциальные свидетельства эпохи. Возьмем «Письма русского офицера» Федора Глинки, написанные на тверской земле и имевшие успех.

С каким интересом читаются дневники купеческой дочери Варвары Морозовой-Хлудовой – будущей владелицы Тверской мануфактуры. Они изданы несколько лет назад Московской библиотекой читальней имени Тургенева, основанной на ее средства. Это социологические свидетельства – вот они, купцы с кубышками, становящиеся в о втором поколении меценатами Это свидетельства личные – человек с его страстями, амбициями. надеждами в них как на ладони. Или еще пример: интересные дневники оставляет нам провинциальный писатель из Твери В.З. Исаков.

А письма – по ним можно изучать характерологию подлинных героев России! Вчитаемся хотя бы в шуточные и псевдонравоучительные письма Чехова. Не будем забывать, что это и возможность заглянуть за забор чужой жизни.

Новый, электронный век принес феномен блогов – сетевых дневников. Порой их авторов ужу нет в живых, а в сети мерцают их послания, им шлют письма. Куда, спросим мы? В Сети хранится и фотография двадцатого века – его разбросанная по страницам история. Не случайно огромный успех имеют старые фотоальбомы, выставки фотографии ушедших эпох. Время – лучший художник.

Сегодня уходит в историю – невозвратно – советская эпоха. Люди, ее населявшие, уже давно, увы, лишь декорации дня сегодняшнего. Ставится благородная задача сохранить их свидетельства. На прошедшей в Твери конференции архивисты рассказывали, как они дают статьи в местную печать, призывают наших сограждан делиться документами, оставить воспоминания о прожитом, работают для этого с ветеранскими организациями.

Литература

1. Агкачева, М.Г. Литературный текст как средство вовлечения в культуру и изменения читательской онтологии мира: развитие библиопсихологии / М.Г. Агкачева, А.Б. Бушев // Филология и культура. – Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 1999. – Ч. I. – С. 112–113.
2. Бенкендорф, К.А. Половина жизни. Воспоминания русского дворянина / К.А. Бенкендорф. – М.: ФОКУСНЕОЛИТ, 2012. – 552 с.
3. Беньямин, В. О понятии истории / В. Беньямин // Новое литературное обозрение. – 2000. – № 46. – С. 81–90.
4. Бергер, П. Социальное конструирование реальности / П. Бергер, Т. Лукман. – М.: Медиум, 1995. – 323 с.
5. Борисов, О.И. Отзвучья земного / О.И. Борисов. – М.: Зебра, 2012. – 688 с.
6. Бушев, А.Б. Агрессивная риторика в публицистике и мемуаристике / А.Б. Бушев // Речевая агрессия в современной культуре: Сб. науч. тр. – Челябинск, 2005. – С. 65–80.
7. Бушев, А.Б. Политики-писатели: современная хлестаковщина / А.Б. Бушев // Политический дискурс в России. – М., 2007.
8. Бушев, А.Б. Нон-фикшн: современный автобиографический нарратив / А.Б. Бушев // Русская литература в формировании современной языковой личности: этапы и варианты. – СПб., 2007. – Т. 1. – С. 270–272.
9. Бушев, А.Б. Образ нового Света и русские тексты о нем / А.Б. Бушев // Литература в диалоге культур. – Ростов н/Д: НМЦ «Логос», 2007. – С. 39–43.
10. Бушев, А.Б. Метаирония над стереотипами в современной прозе // Geybullayeva, Rahilya / Orte, Peter (eds.) Stereotypes in Literatures and Cultures International Reception Studies Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2010. XV, 300 p.
11. Бушев, А.Б. Сниженность и коллоквиальность речи в ряду способностей языковой личности / А.Б. Бушев // Лингвориторическая парадигма: теоретические и прикладные аспекты. – Сочи: РИЦ СГУТиКД, 2010. – С. 18–31.
12. Бушев, А.Б. Жанры и механизмы комического / А.Б. Бушев // Studia culturae. Выпуск 12. – СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2011. – С. 216–234.
13. Бушев, А.Б. Предвосхищение стиля: роль художественной детали / А.Б. Бушев // Предвосхищение и язык. – М.: Изд-во СГУ, 2012. – С. 107–117.
14. Бушев, А.Б. Эмигранты и репатрианты: постперестроечный нонфикшн / А.Б. Бушев // Культура русского зарубежья: прошлое и настоящее. – Курск: Курский госуниверситет, 2014. – С. 124–130
15. Гавришина, О. Повседневность во множественном числе / О. Гавришина // Объять обыкновенное: Повседневность как текст по-американски и по-русски: Материалы VI Фулбрайтовской гуманитарной летней школы / под ред. Т. Д. Венедиктовой. – М.: Изд-во МГУ, 2004. – С. 11–18.
16. Гофман, И. Представление себя другим в повседневной жизни / И. Гофман. – М.: Канон-пресс, 2000. – 304 с.
17. Дворкин, А. Моя Америка / А. Дворкин. – М.: Изд-во РПЦ, 2013 – 670 с.
18. Кнабе, Г.С. Древний Рим. История и повседневность / Г.С. Кнабе. – М.: Искусство, 1986. – 208 с.
19. Маффесоли, М. Фантастический мир каждого дня / М. Маффесоли // Художественный журнал. – 1997. – № 17.
20. Назаров, М.В. Миссия русской эмиграции / М.В. Назаров. – М.: Русская идея, 1994. – 450 с.
21. Окуневская, Т.К. Татьяна день / Т.К. Окуневская. – М.: Вагриус, 2010. – 446 с.
22. Портреты историков. Время и судьбы: В 5 т. / отв. ред. академик РАН Г.Н. Севастьянов. – Москва–Иерусалим, 2000.
23. Репина, Л.П. «Новая историческая наука» и социальная история / Л.П. Репина. – М.: ИВИ, 1998. – 352 с.
24. Судейкина-Стравинская, В.А. Дневник. Петроград. Крым. Тифлис / В.А. Судейкина-Стравинская. – М.: Русский путь, 2006. – 669 с.
25. Щербатов, С. Художник в ушедшей России / С. Щербатов. – М.: Согласие, 2000. – 688 с.
26. Шютц, А. Структуры повседневного мышления / А. Шютц // Социологические исследования. – 1986. – № 1.
27. Bouchev, A. Stimulating Reflectivity by Means of Semiotic Organisation of Psychotherapy // Sign Processes in Complex Systems: 7th Congress of International Association for Semiotic Studies (IAAS / A.J.S). – TU Dresden, 1999. – P. 103.
28. Certeau M., Giard L. Practical Science of the Singular // The Practice of Everyday Life.V2. Living and cooking. – Berkley, 1984. – P. 251–256.
29. Maffesoli M. La conquete du present.Pour une sociologie de la vie quotidienne. – Paris, 1979. The History of Everyday Life. Reconstructing Historical Experience and Ways of Life // ed. by Alf. Luedtke. – Princeton, 1995.

УДК 811.161.1'38

СТРУКТУРА ПРОПОВЕДИ КАК ЖАНРА РЕЛИГИОЗНОГО СТИЛЯ

Т.А. Кожурна
(Могилев, Беларусь)

Данная статья посвящена исследованию религиозного стиля, в частности жанра православной проповеди. Рассматриваются различные формы проповеди, определяются ее качества и структура.

В последние десятилетия в русистике стали возрождаться традиции изучения языка православной религии. В системе стилей современного русского языка выделяют стиль религиозный. Одним из первых на религиозную сферу обратил внимание Л.П. Крысин, выделив *религиозно-проповеднический стиль*. В научной литературе встречаются различные термины: *духовная словесность, культовый язык, молитвенный язык, религиозный язык, религиозный дискурс, религиозный стиль, религиозно-проповеднический стиль, религиозное употребление*

языка, религиозная коммуникация, сакральный язык, язык церкви и т. д. Перечисление длинного ряда терминов свидетельствует о сложности и неоднозначности подходов и оценок в изучении данного вопроса.

Религиозный стиль в системе современного русского литературного языка может выступать в жанрах *проповеди, церковного послания, надгробного слова, наставления, молитвы, исповеди, поучения, притчи и др.*

История существования христианской проповеди – мало изученная тема. Из Евангелия от Матфея известно, что первым проповедником христианства был сам Ии-

сус Христос, который произнес знаменитую Нагорную проповедь, где излагал основные моральные принципы своего учения как главные заповеди: любовь к ближнему, самоотверженный поиск истины и др. В своей речи Иисус Христос опирался на Ветхий Завет и его законы. «Нагорная проповедь позволяет представить черты раннего христианского проповедничества: вселенский и эсхатологический масштаб проповеди, ее озабоченность последними вопросами бытия; ее простота, естественность, искренность; ее подчеркнута не книжный, устный, неученый характер; естественная выразительность взволнованной, спорящей и убеждающей речи; ее коммуникативно-риторическая сила и искусственность, скорее всего не рассчитанные, а стихийные и потому тем более действенные (с обращением к выразительным образам, специальным средствам активизации внимания слушателей и побуждения их к определенным решениям и действиям)» [2, 207].

Ученые-лингвисты по-разному понимают проповедь. Так, С.С. Аверинцев относит к проповеди «дидактическое произведение ораторского типа, содержащее этические требования (обычно с религиозной окраской) и понуждающее слушателей к эмоциональному восприятию этих требований». Г.Н. Склярёвская понимает проповедь как «распространение какого-либо учения или как речь священнослужителя, обращенную к прихожанам, обычно произносимую в храме и содержащую наставления и рекомендации верующим». Н.Б. Мечковская считает, что «в религии проповедь так же органична, как молитва», и относит ее к фундаментальным жанрам речевой коммуникации.

С древних времен известны проповеди, называемые *речами*, которые имеют особое содержание и назначение. Исходными при построении речей являются какие-либо обстоятельства или случаи из области церковной или общественной жизни. Классически составленные речи включают обращение, вступление, указание предмета речи, изложение, благопожелание, заключение. Речи различают приветственные, благодарственные, поздравительные.

Наиболее совершенной формой церковной проповеди считается *слово*. Этот вид проповеди отличается правильной логической структурой, изящным, художественным стилем и строгой тематикой. Один какой-либо предмет (тема) раскрывается с достаточной полнотой и строгой последовательностью на основании Священного Писания и учения Церкви.

Слово – жанр диалогичный, поскольку, будучи формально монологом, оно всегда ориентируется на воспринимательное сознание, к которому прямо обращено. Слова чаще всего произносятся в торжественные дни церковного года, а также по случаю особых событий в жизни Церкви.

Новым подходом к вопросам церковного проповедничества ознаменовался третий век христианства. Этому способствовали как внешние, так и внутренние условия существования Церкви: появление удобных для богослужения и проповедничества храмов, создание при храмах библиотек и т. д. Возникает новый вид проповеди – поучение. В отличие от беседы, где изъясняется стих за стихом, поучение строится на каком-либо одном стихе или отрывке библейского текста, или же посвящается какой-либо произвольно избранной проповеднической теме.

В стилистике жанра проповеди обращает на себя внимание тенденция к простоте и понятности изложения. Стремление проповедника быть понятным для каждого слушателя приводит к необходимости пояснять свои мысли рядом примеров. Эти примеры проповедник заимствует как из священных текстов, хорошо знакомых слушателям, так и из бытовой жизни паствы.

Для убеждения слушателей в верности своих слов проповедник иногда использует и такой вид примера: описывает сцену другой проповеди, оценивая ее как истинную проповедь добра или, наоборот, как проповедь ложную.

В заглавии проповеди, как правило, часто формулируется тема («Рождество Христово», «Радуница» и т. д. Однако бывают заглавия, в которых содержится лишь указание, намёк на возможную тему проповеди («Кто охраняет дверь вашего дома?», «День саранчи», «Не уклоняйся от своих обязанностей»). Такие заглавия привлекают внимание аудитории, стимулируют мысли прихожан строить предположения о возможном содержании предстоящей проповеди. Иногда в качестве заглавия выступает библейская цитата («В виноградной кисти заключено благословение», «Будет великая скорбь...», «Не бойся, только веруй»).

Вступительная часть проповеди выполняет прежде всего контактоустанавливающую функцию. Цель данной части – добиться внимания, предварительного понимания. Введение может содержать эпиграф, приветствие, собственно вступительную часть. Во вступлении декларируется тема. Начальные фрагменты проповеди обычно стандартны: «Вспомним сегодня...», «Поговорим о...», «Хочу обратить ваше внимание на...» и др. Основную часть текста проповеди в большинстве случаев составляют тезисы и подтверждающие их аргументы. Например, в проповеди Кирилла (Павлова) «О зависти»: «Завидовать другим есть великий грех. Кто завидует другому, тот явно показывает, что он не желает видеть благополучия этого человека. Как может такой человек сказать, что он любит ближнего своего? Напротив, он не любит брата своего, а не любя брата своего, как говорит апостол Иоанн Богослов, пребывает в смерти. Кроме этого, завистливый обнаруживает ещё и недовольство своим состоянием. Кто вполне доволен тем, что имеет, тот не станет завидовать, тому и нужды нет завидовать. Следовательно, завистливый показывает, что он не благодарен Богу за то, чем Бог его наградил, что он достоин гораздо большего, чем Бог его наградил, что Бог несправедлив и не по правде воздаёт каждому. Таким образом, зависть открывает ещё два порока в человеке: ужасную неблагодарность к Богу и безумную гордость...».

Цель основной части – раскрыть суть обсуждаемой проблемы, убедить аудиторию в истинности утверждаемых положений и добиться их понимания. Доминирующим функционально-смысловым типом речи в основной части является рассуждение. Широко используется также описание и повествование.

В заключении суммируется общая картина сказанного, делаются выводы. Именно заключение во многом определяет успех эмоционального воздействия проповеди на слушателей. Поэтому в большинстве случаев проповедь завершают пожелания и призывы. Заключение отводится особенно важная роль, его отличает простота изложения (а, следовательно, и восприятия), серьезный характер, безус-

ловная связь с основной частью проповеди, логика. Обязательна ритуальная концовка: аминь. Например, «*Будем, дорогие, беречь себя от этого гибельного порока. Зная, что от этого порока проистекают для нас смерть, лишение бла, отчуждение от Бога, послушаемся божественного гласа: не будьте тщеславны, друг друга не раздражайте, друг другу не завидуйте, но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Аминь*» [1, 34].

Действенность церковно-богослужебной проповеди проявляется в зависимости как от внутренних качеств проповеди, т. е. от силы и степени выражающихся в ней личного убеждения, внутреннего одушевления и духовного настроения проповедника, так и от внешних её качеств, от её приспособленности к настроению, пониманию и умственному развитию слушателей. Ясность, доступность, наглядность, литературно-правильная речь – качества, характерные для убедительной проповеди.

Литература

1. Архимандрит Кирилл (Павлов). Проповеди / Архимандрит Кирилл (Павлов). – Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2003. – 548 с.
2. Мечковская, Н.Б. Язык и религия / Н.Б. Мечковская // Пособие для студентов гуманитарных вузов. – М.: Агентство «ФАИР», 1998. – с. 205–216.

УДК 811.161.1'38

СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ПЕРСОНИФИКАЦИЯ ВОКАТИВНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В ЭПИСТОЛЯРНЫХ ТЕКСТАХ

Е.К. Куварова

(Днепропетровск, Украина)

Разработана методика стилистической персонификации вокативных образований в массивах писем, объединённых по адресанту. Предложен комплекс характеристик, позволяющих оценить степень разнообразия вокативов у того или иного адресанта, а также соотношение регулярно используемых им моделей вокатива и единичных, нетривиальных вокативных образований.

Наиболее значимым композиционным элементом в системе конструктивных параметров, определяющих жанрово-стилистическую сущность эпистолярного текста, является вокатив, который представляет собой, как правило, прямое обращение, но может быть реализован и разными формами опосредованной адресации. Вокативные образования в письмах субстанционально неоднородны: это и антропонимы в любой их форме, и апеллятивы самой разной семантики, и апеллятивно-антропонимические формулы типа *Господин Семёнов, Товарищ Анна*, и вокативные конструкции, включающие те или иные детерминанты. Структура эпистолярных обращений, их стилистика и функции неоднократно становились предметом лингвистических исследований [1], [2], [4], [5], [7], однако принципы стилистической персонификации вокативных образований нуждаются в уточнении.

Описывая вокативное творчество того или иного адресанта, можно, конечно, указать на его языковые предпочтения, такие, как образование развёрнутых, со множеством детерминантов вокативных конструкций: *Дорогая моя Оля, родная, болезная ты моя, светик мой чистый* (И.С. Шмелёв), *О грубейший из всех директоров, когда-либо существовавших в сем печальном мире* (В.Г. Белинский), использование эпитетов: *Коварный, ветреный, но все-таки прелестный и дорогой друг мой, Катерина Сергеевна* (Ап. Григорьев), создание индиви-

Таким образом, православная проповедь является жанром, наиболее ярко демонстрирующим языковую специфику религиозного стиля. В текстах проповеди взаимодействуют две основных тенденции: стремление к торжественности речи, с одной стороны, и попытки сделать речь живой и доступной для слушателей – с другой.

Язык проповеди отличается от языка других речевых жанров. При анализе проповедей можно увидеть средства воздействия на слушателей. Мимика, взгляд, жесты, интонации, паузы, темп речи говорящего помогают акцентировать главные моменты, вызывать интерес и поддерживать внимание слушателей. Риторические приёмы, фигуры и тропы облегчают восприятие устной речи и обеспечивают её эффективность.

Проповедь одновременно содержит в себе предметную тему и духовную. Каждая тема выражается лексикой конкретно-предметной семантики.

дуально-авторских метафор при обращении к адресату: *Озябаяя моя московская душа; Милая Царскосельская узица* (И.Э. Бабель), изобретение множества производных вариантов имени, как в письмах В. Маяковского к Лилии Брик: *Личика, Лилик, Лилёнок, Лилёночек, Лилёк, Лиляттик, Лилёчек, Линочек, Личик, Лучик, Лисик, Лисёк, Лисёныш, Лисит, Лисятик, Лисятитик*, или окказионализмов, как у А.М. Ремизова: *Бубуня, Кукуня, кисунья-мяуня, запыхуня, побегуня, скрытуня, озябуня, веснуня, торопуня* и т. п. При этом в эпистолярии каждого из названных выше, а также многих других адресантов, наряду с неузуальными, эмоционально окрашенными вокативами, есть и большое количество регулярных, часто даже шаблонных, образованных по известным моделям обращений типа *Дорогой Илья Григорьевич* или *Милая мамочка*.

Количество и состав вокативных моделей, функционирующих в эпистолярном творчестве разных адресантов, естественно, отличаются, своеобразны и набор вокативов, регулярно используемых каждым из них. Оценить же, во-первых, степень разнообразия вокативов и их моделей у того или иного адресанта, а во-вторых, соотношение типичных, регулярно им используемых моделей и единичных, нетривиальных вокативных образований можно с помощью комплекса характеристик вокатива, которые могут быть пред-

ставлены в виде системы своего рода числовых индексов, в частности **индекса наполнения** как определённого соотношения вокативов, построенных по разным моделям, и общего количества вокативных образований в том или ином массиве писем; **индекса включения**, манифестирующего в общем множестве вокативов более или менее регулярные формы обращения, к которым мы относим вокативные образования, перешедшие однопроцентный статистический порог; **индекса реализации**, указывающего на отношение количества реализованных запороговых моделей вокатива к максимально возможному в исследуемом массиве писем числу вокативных моделей.

Проиллюстрируем принципы индексации и прежде всего процедуру определения индекса наполнения в двух сопоставимых по объёму, небольших и поэтому легко обозримых массивах писем историка В.О. Ключевского и физиолога И.П. Павлова, выдающихся учёных-современников.

В 120 опубликованных письмах Ключевского [3] мы, не конкретизируя употребляемых адресантом антропонимов, а обозначая их прописными буквами *И* (любое имя), *ИО* (любые имя и отчество), *Ф* (фамилия), зафиксировали такие обращения: *многоуважаемый ИО* – 27, *милостивый государь ИО* – 10, *И* – 9, *любезный ИО* – 8, *глубокоуважаемый ИО* – 7, *тётяшка / тётюшка* – 6, *дорогой ИО* – 6, *ИО* – 5, *друг мой* – 5, *брат* – 4, *carissime Porphyri* – 3, *милый И* – 3, *мой И* – 2, *carissime* – 2, *братец ты мой* – 2, *дружнице* – 2, *любезный И* – 2, *Ваши высокопреподобие* – 2, *глубокоуважаемый граф ИО* – 2, по одному разу использованы 22 вокатива (*бесподобнейший И*; *милая тётяшка*; *мой милый и достолюбезный И*; *мой милый стоик И*; *милый мой стоик*; *мой стоик*; *мой милый корреспондент*; *бесценнейший мой И*; *поверенная души моей*; *добрый друг мой*; *любезный сват и кум*; *vita tua*; *ocule mi*; *mein lieber, cher, dear, amicissime, ω φίλτατε, kochany, libu* и *любезнейший Порфириносец*; *aestuosissime*; *уважаемый ИО*; *высокоуважаемый ИО*; *ваши сиятельство, милостивый государь граф ИО*; *добрый ИО*; *добрейший и любезнейший ИО*; *многоуважаемый и любезный ИО*; *милостивый государь*).

Всего 129 вокативов, из которых разных, т. е. представляющих собой разные конструктивные образования, разные модели, – 41. Численное значение индекса наполнения мы, исходя из данных: 129 – 100%, а 41 – $x\%$, получим, умножив число 41 на 100 и разделив полученное произведение (4100) на 129. Равен этот индекс будет числу **31,8**.

У Павлова, для сравнения, в 187 опубликованных его письмах [6] – 174 вокативных образования: *глубокоуважаемый ИО* – 42, *дорогой ИО* – 30, *многоуважаемый ИО* – 21, *милый И* – 21, *милый мой И* – 14, *дорогой И* – 5, *милый дорогой И* – 4, *ваши высочество* – 4, *И* – 3, *глубокоуважаемый и дорогой ИО* – 3, *многоуважаемый товарищ* – 3, *мой дорогой И* – 2, *мой милый* – 2, *милостивый государь ИО* – 2, *глубокоуважаемый товарищ* – 2; по одному разу использованы 16 вокативов (*высокоуважаемый ИО*; *многоуважаемый ИО*; *многоуважаемый дорогой ИО*; *ИО*; *Дорогой товарищ ИО*; *многоуважаемая гражданка Ф*; *многоуважаемая госпожа Ф*; *милостивый государь*; *милостивый государь господин председатель*; *дорогой учитель*; *высокоуважаемый господин редактор*; *милый*; *многоуважаемые господа*; *глубокоува-*

жаемый коллега; *многоуважаемый товарищ по жизненному пути*; *дети*).

Вокативов, построенных по разным моделям, – 31. Индекс же наполнения как один из стилистических параметров павловских писем мы, как и в предыдущем случае, приняв общее количество вокативов за 100%, получим, разделив число 3100 на 174, и равен этот индекс будет числу **17,8**, существенно меньшему, чем у Ключевского.

Величину индекса наполнения можно связать с целым рядом как лингвистических, так и экстралингвистических факторов, с тем, например, что характеризует адресанта как языковую личность, когда каждое его обращение представляет собой особую, ранее не использованную им форму адресации. С другой же стороны, если иметь в виду стилистику и образно-эстетические нюансы послания, можно говорить и о том, что индекс наполнения как компонент вокативного ресурса, как потенциальная возможность при каждом случае обращения к своему адресату найти особый, содержательно или эмоционально более насыщенный вокатив практически не может быть в достаточно большом (скажем, в несколько десятков) массиве писем реализован в полной мере, т. е. на сто процентов. Причина этого, по-видимому, не только в степени лингвистической осведомлённости адресанта или в его естественном стремлении по возможности избегать ненужного многословия, но и в том, что нерационально и даже не всегда этично при длительной переписке какого-либо адресанта с одним и тем же адресатом (родственником, другом, сослуживцем, деловым партнёром и т. п.) обращаться к нему каждый раз поновому, как к какому-то другому лицу. Отступления от этого правила возможны, но всегда прагматически мотивированы. Например, многообразие вокативных конструкций у Ключевского, при меньшем, чем у Павлова, количестве адресатов, связано, главным образом, с регулярной перепиской его с Порфирием Гвоздевым, другом юности, при обращении к которому он почти каждый раз находит какие-то особые слова: *мой милый и достолюбезный Порфирий*; *мой милый стоик Порфириус*; *carissime Porphyri*; *друг мой*; *мой милый корреспондент*; *брат*; *любезный сват и кум*; *vita tua*; *ocule mi* и др. Это и определило большее разнообразие вокативных моделей в письмах Ключевского, а соответственно и более высокий у него индекс наполнения.

Обращение к статистическому порогу при исследовании вокативного ресурса того или иного конкретного адресанта даёт нам возможность ввести ещё некоторые индексы, ориентированные на количественные приоритеты регулярных вокативных образований. При однопроцентном статистическом пороге в приведенных выше массивах писем Ключевского и Павлова модель вокатива, реализованная два раза или более, преодолевает порог и может рассматриваться как регулярно используемая. Индекс включения, величина которого определяется процентом вокативов, перешедших статистический порог, от общего количества конструкций с обращением, определяется так.

Ключевский: всего вокативов – 129, запороговых – 107 (отброшены единичные), индекс включения, таким образом, равен $(10700 : 129)$ числу **82,9**. Павлов: всего вокативов 174, запороговых вокативных образований 158, индекс включения $(15800 : 174) =$ **90,8**.

Величина индекса включения у Павлова, как мы видим, несколько больше численного значения этого индекса у Ключевского, а свидетельствует это о том, что в письмах Ключевского регулярно используемым им форм обращения меньше (в относительных, разумеется, характеристиках), чем в письмах Павлова. Соответственно большим у него окажется процент единичных, в том числе неузуальных вокативных образований.

Количество реально использованных в качестве обращения лингвистических фигур может у разных адресантов по-разному соотноситься с количественно потенциально возможных при заданных условиях коммуникации вокативных моделей, и для того, чтобы показать этот аспект вокативного ресурса, показать расхождение реального и возможного, мы и вводим индекс реализации, касающийся ресурса вокативных лингвистических фигур, а соответственно, и стилистики вокативных образований.

Факт использования абсолютного максимума возможного количества моделей как один из показателей вокативного ресурса адресанта имел бы без каких-либо оговорок место только тогда, когда все вокативы в исследуемом массиве писем были бы построены по разным моделям, что вполне реально для одного или даже нескольких посланий, но практически исключено, если соответствующий массив сформирован на реальном фактическом материале, является относительно большим (хотя бы несколько десятков писем) и, разумеется, достаточно репрезентативным. Однопроцентный статистический порог, оставляющий в списках вокативов у наших, как и у любых иных адресантов, только те обращения, которые были употреблены ими не менее двух раз (у других адресантов абсолютное значение статистического порога может быть и гораздо большим), позволяет выделить множество вокативов, построенных по регулярно используемым данным автором моделям. Запороговых вокативов, напомним, у Ключевского окажется только 107, у Павлова – 158. Значит, максимально возможное количество моделей вокатива в выделенном множестве при среднем их наполнении двумя в данном случае обращениями у Ключевского будет равно $(107 : 2)$ числу 53 при 19-ти

моделях, перешедших однопроцентный статистический порог, у Павлова – $(158 : 2)$ числу 79 при 15-ти запороговых вокативных моделях. Соответственно индекс реализации, как процент запороговых вокативных моделей от максимально возможного их количества в письмах Ключевского мы определим так: 53 – это 100%, 19 – это $x\%$; $x = (19 \times 100) : 53 = 35,8$. Этот же индекс у Павлова, вычисленный таким же образом, будет равен числу 19.

Итак, сопоставив полученные значения приведенных индексов вокативного ресурса и оставаясь в рамках относительных количественных характеристик, мы можем сделать следующие выводы:

1. Более высокий индекс наполнения у Ключевского свидетельствует о том, что он по сравнению с Павловым использует гораздо больше разных моделей персональной адресации, а соответственно, и больше языковых средств письменного обращения.

2. Величина индексов включения, наоборот, показывает, что в письмах Ключевского меньше, чем у Павлова, запороговых (регулярно используемых) вокативных образований. Значит, при обращении к своим адресатам Ключевский более разнообразен в своём речетворчестве, в выборе для вокатива конкретных лингвистических фигур, и это, если речь идёт о вокативном ресурсе, в полной мере соотносится с индексом наполнения.

3. Индекс реализации, как и индекс наполнения, у Ключевского почти вдвое выше, чем у Павлова, а это уже обусловлено не столько объёмом и разнообразием всего использованного в письмах вокативного материала, сколько его функциональной значимостью. Индекс реализации показывает, что даже в пределах регулярных в письмах Ключевского моделей вокативные образования у него обнаруживают большее лексическое и структурное многообразие, чем у Павлова. Это не только количественный, но и своего рода качественный параметр стилистики эпистолярного вокатива, репрезентирующий выбор адресанта и определяющий характер множества реализованных тем или иным автором писем вокативных моделей как функционального подмножества всей суммы таких моделей, потенциально возможных в данных условиях коммуникации.

Литература

1. Захарова, В.Е. О функциях и структуре начального обращения в частных письмах А.П. Чехова / В.Е. Захарова // Языковое мастерство А.П. Чехова [отв. ред. Л. В. Баскакова]. – Ростов н/Д: Изд-во Ростовского ун-та, 1988. – С. 110–115.
2. Климова, Н.В. Структура и стилистические функции обращений в письмах И.С. Тургенева / Н.В. Климова // Исследования по русскому языку. – Днепропетровск, 1970. – С. 127–133.
3. Ключевский, В.О. Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории / [отв. ред. акад. М.В. Нечкина, сост. Р.А. Киреева и А.А. Зимин]. – М.: Наука, 1968. – 525 с.
4. Курьянович, А.В. О коммуникативно-прагматической сущности эпистолярного диалогизма (на материале писем В.С. Высоцкого) / А.В. Курьянович // Вестник Томского государственного педуниверситета. – 2012. – Вып. 10 (125). – С. 174–179.
5. Кыштымова, Т.В. Ономастическая игра в письмах А.П. Чехова к брату (на примере обращений и самопрезентаций) / Т.В. Кыштымова // Известия Уральского государственного университета. – 2008. – № 60. – С. 221–225.
6. Переписка И.П. Павлова / [сост.: Н.М. Гуреева, Е.С. Кулябко, В.Л. Меркулов]. – Л.: Наука, 1970. – 438 с.
7. Черняева, А.Б. Функционирование обращения в дружеском письме творческой интеллигенции конца XIX – первой четверти XX века : дисс. ... канд. филол. наук : 10.02.01 – русский язык / А. Б. Черняева. – СПб., 2008. – 187 с.

ИНФЕРЕНЦИЯ В НАУЧНОМ ГУМАНИТАРНОМ ДИСКУРСЕ

Т.Н. Савчук
(Минск, Беларусь)

В статье представлены результаты прагматически ориентированного исследования феномена инференции, направленного на установление специфики инферентных процессов в аргументативном (а именно: научном гуманитарном) дискурсе. Рассматриваются различные виды инференций, выявляется их своеобразие в научной аргументации, относящейся к сфере гуманитарного познания.

Обозначившаяся в современной лингвистике «дискурсцентрическая» парадигма исследования проблем речевой коммуникации предполагает «интеракционный» [1] подход к рассмотрению коммуникативных процессов. В интеракционной модели «критерием успешности и главным предназначением коммуникации» становится интерпретация [1, 39]. Необходимым компонентом интерпретации дискурса (и текста как продукта дискурсивной деятельности) является инференция – особая когнитивная процедура выведения знания, получения новых смыслов с опорой на имеющиеся в дискурсе / тексте знания и смыслы. В переводе с английского *inference* – вывод, заключение; подразумеваемое, т. е. информация, извлеченная из сообщения, но прямо в нем не выраженная. Термином 'инференция' обозначают как процесс семантического вывода, так и его результат – «само выводное знание, умозаключение» [2, 33].

Инференция как сложное явление рассматривается в рамках многих современных языковедческих дисциплин (семантики, прагматики, когнитологии, лингвистики текста, теории дискурса, психолингвистики и др.), представители которых выявляют и анализируют разные стороны этой междисциплинарной категории. Наш исследовательский интерес к феномену инференции имеет лингвопрагматические основания и направлен на установление соотношения инференции и аргументации как лингвопрагматических категорий, а также на выявление специфики инферентных процессов в аргументативном (а именно: научном гуманитарном) дискурсе.

Научный дискурс, нацеленный на формирование нового знания, его обоснование, представление научному сообществу, «вписывание в культуру» [3, 8], очевидно, имеет аргументативную природу и, как следствие, двойственный (когнитивно-прагматический) характер. Базируясь на интеракционной модели коммуникации, аргументацию как логико-коммуникативную процедуру по реализации интенции убеждающего воздействия можно представить как многоступенчатый процесс, структурированный следующим образом: распознавание (идентификация) → умозаключение (инференция) → понимание → толкование (интерпретация) → принятие (убеждение). Как видим, выстроенная логическая цепь демонстрирует первичность инференции в когнитивно-прагматической иерархии аргументативного дискурса. Действительно, адекватное восприятие, анализ и оценка аргументации адресатом связаны с распознаванием и пониманием не только эксплицитно представленных аргументативных структур, но также тех элементов обоснования, которые явно не выражены, т. е. имплицированы.

Понятие импликации, или имплицатуры [4] образует соотносительную пару для понятия 'инференция'. Между этими категориями существует тесная взаимосвязь, которая в аргументативном дискурсе проявляется сле-

дующим образом: аргументатор, выстраивая обоснование своей точки зрения, некоторые элементы аргументативной конструкции не репрезентирует, но подразумевает, т. е. имплицитует (создавая тем самым имплицатуры). Адресат аргументативного высказывания извлекает, выводит неявные смыслы, восстанавливает невербализованные структуры, т. е. инферирует необходимые структурно-семантические компоненты аргументации. Таким образом, ход инференции обуславливается характером имплицатуры.

В научном дискурсе значительная часть информации, в том числе аргументативного свойства, представляется в эксплицитной форме. Однако естественно, что абсолютной вербализации в аргументативном рассуждении не наблюдается, как минимум, по двум очевидным причинам. Это, во-первых, отсутствие такой возможности и, во-вторых, отсутствие необходимости в этом (например, когда информация рассматривается как общее знание). Имплицитность особенно характерна для аргументативного дискурса, относящегося к сфере гуманитарного познания, своеобразием которой обусловлен пересмотр сложившихся в философии науки идеалов аргументации. Осознание неотъемлемости таких категорий, как вероятность, неопределенность, многовариантность, непредсказуемость при формулировке доказываемых положений и привлекаемых для этой цели аргументов приводит к изменению самого понятия логического следования: «эта форма связи становится более гибкой, многоплановой, «релевантной», исключаящей строго однозначный подход» [3, 120]. Поэтому в понимании научного гуманитарного дискурса операция инференции начинает занимать «значительное место» [5, 37].

Процесс инференции базируется на различных типах дополняющих друг друга знаний [5, 37], [6, 101], [7, 140]. Опорой для инферентного вывода в аргументативном научном гуманитарном дискурсе являются: лингвистические данные (вербальные единицы и структуры текста), общие (фоновые) знания, специальные («экспертные» [5]) знания, социокультурный контекст, ситуативный контекст, прагматические установки адресанта, постулаты дискурса (вытекающие из Принципа кооперации максимы языкового общения [6, 101]), а также знание логики: аристотелевской силлогистики, пропозициональной логики, логики норм и оценок и т. д. Эти знания актуализируются посредством структурно-смысловых элементов дискурса.

Инференции неоднородны, их классификация осуществляется по разным основаниям. В зависимости от способа получения выводного знания различают два типа инференций: формально-логические, или дедуктивные и вероятностно-индуктивные, или прагматические [1, 125]. Логические инференции основываются на том или ином типе умозаключения и обладают свойст-

вом неустрашимости под действием контекста. Совпадая с дедуктивным выводом, они образуют, по М.Л. Макарову, «класс инференций в узком смысле» [1, 125].

Основаниями для инференций второго типа служат отношения недедуктивного свойства, которые, в отличие от логического следования, ведут к вероятностному или правдоподобному объяснению. Индуктивные инференции «легко устранимы добавлением нового высказывания, т. е. расширением контекста» [1, 126], [11, 114].

Примерами дедуктивных инференций в научном дискурсе могут служить энтимематические умозаключения – аргументативные конструкции с невыраженными элементами. Формально-логической основой таких рассуждений являются классические энтимемы с пропущенными посылками, восстановление которых не представляет сложности.

(1) *Поскольку каждый метаязык по-разному отображает единицы языка-объекта, то можно считать, что имеющиеся метаязыки выявляют совершенно различные слои содержания аргументативного дискурса* [8, 6]. Инферируемая посылка: *Аргументативный дискурс рассматривается в качестве языка-объекта.*

(2) *Исходя из непрерывности человеческого мышления, научное знание предстает как феномен, находящийся в процессе постоянного изменения и совершенствования* [9, 135]. Инферируемая посылка: *Научное знание является одной из форм человеческого мышления.*

Анализ показывает, что опорой для инферентного вывода являются:

во-первых, вербальные структуры - языковые маркеры, позволяющие идентифицировать аргументационную конструкцию: *поскольку..., то можно считать, что...* (1); *исходя из ..., ... предстает как...* (2);

во-вторых, когнитивные схемы - законы формальной логики. В обоих рассмотренных случаях вывод осуществляется по правилам классической (первой) фигуры силлогизма: *Если все С суть В и все А суть С, то все А суть В.*

В других случаях инферентный механизм может быть описан в терминах пропозициональной логики:

(3) а. *Такое развитие логической теории нельзя не приветствовать* [8, 8].

(4) а. *Но это отнюдь не значит, что в исследовательской реальности мы не используем индуктивного мышления* [1, 45].

Логической формой приведенных умозаключений является закон удаления двойного отрицания: *Если неверно, что не А, то А.* В результате получаем инференции:

(3) б. *Такое развитие логической теории следует приветствовать;*

(4) б. *Это значит, что в исследовательской реальности мы используем индуктивное мышление.*

Формально-логические инференции дискурса являются общезначимыми и соответствуют конвенциональным импликациям по Г.П. Грайсу. В отличие от них вероятностные инференции носят частный характер и позволяют вывести речевые неконвенциональные импликации, что подчеркивается большинством исследователей (см., например: [1, 127], [11, 115–116]).

В качестве иллюстрации прагматической инференции приведем фрагмент вступительной части монографии М.Л. Макарова «Основы теории дискурса»:

(5) *Сегодня категория **дискурса** в социальных науках играет роль, подобную той, что отведена **евро** в евро-*

пейской экономике. Поэтому некоторых «чистых» лингвистов, быть может, разочарует обилие методологических, философских, социологических или психологических экскурсов, предпринятых в данной книге, в то время как социологов, психологов и философов отпугнет собственно лингвистический анализ. Но автор сознательно идет на это, считая междисциплинарный характер работы реальной возможностью покинуть «башни из слоновой кости», где уютно устроились гуманитарные дисциплины, создав свои собственные категоризационно-теоретические «миры» и все дальше отгораживаясь от того, что происходит в большом и сложном Человеческом Мире [1, 11].

Анализируя данную аргументативную конструкцию, реконструируем точку зрения автора: *Исследование дискурса должно носить междисциплинарный характер.* Однако для понимания и интерпретации качества обоснования этого тезиса требуется инференция, поскольку ключевой аргумент не эксплицирован. Запуск инферентного механизма предполагает установление критерия уподобления двух объектов – *дискурса и евро*, что, в свою очередь, означает поиск ответа на вопрос: какова роль евро в европейской экономике?

На этом этапе актуализируем энциклопедические знания: *Евро – единая европейская валюта, важный фактор объединения стран «еврозоны».* Инферируем вывод: *Евро – интегрирующий фактор европейской экономики, значит, такую же (интегрирующую) роль играет дискурс в социальных науках.*

Далее подключаем ситуативный контекст: *Объединение усилий гуманитарных дисциплин по исследованию дискурса позволит преодолеть кризис гуманитарного познания. Следовательно, изучение дискурса должно носить междисциплинарный характер.*

Очевидно, что данная инференция (а также выстроенная на ее основе аргументация) носит индуктивный характер: она является наиболее вероятной, правдоподобной из множества «потенциальных инференций» [6, 101], если исходить из соблюдения в дискурсе Принципа кооперации. Но является ли она реальной, т. е. соответствующей «реальным импликациям говорящего» [6, 102], однозначно утверждать нельзя.

Важно отметить, что в интеракционной модели коммуникации, где «происходит перенос приоритета от конвенций языковых к социокультурным» [1, 39], именно прагматические инференции вызывают особый интерес. Дискурсивное взаимодействие, в том числе в сфере гуманитарного научного познания, детерминировано социально-культурным контекстом. Этим обусловлены специфические свойства вероятностных инференций (интуитивность, необязательность, устранимость), подтверждаемые, в частности, примером (5).

При ознакомлении с приведенным фрагментом в период выхода монографии (2003 г.) неконвенциональная импликация автора, должно быть, представлялась очевидной. С учетом же реалий сегодняшнего дня данная инференция оказывается под большим сомнением: статус евро не так очевиден, отношение к нему неоднозначно и даже противоречиво (в СМИ все чаще высказывается мнение о неспособности евро быть фактором экономической интеграции). Кроме того, многое зависит от субъекта инференции: его эрудиции, специальных знаний, исследовательской компетенции и пр.

Приведенный пример из работы М.Л. Макарова подтверждает высказанную этим же автором мысль о том, что в преобразовании сообщения «на вводе и выводе»

не наблюдается зеркального подобия: «реципиент может вывести смыслы, отличные от задуманных говорящим, что в жизни встречается не так уж редко» [1, 39]. Таким образом, в примерах, аналогичных (5), в процессе понимания и последующей интерпретации аргументативной структуры актуализируется одна из нескольких (или многих) инференций, связанных с определенной категорией. В результате, хотя тезис аргументации сохраняется, ключевой довод, приведенный в его поддержку, становится уязвимым. В любом случае расчет на инференции можно рассматривать как механизм, «который по-

зволяет говорящему передать в своем высказывании гораздо больше того, что в нем сказано явно» [6, 102].

Инференция, сопровождающая процессы понимания и толкования аргументативного дискурса, является их неотъемлемым компонентом. Качеством инференции определяется в итоге достижение аргументативным высказыванием перлокутивного эффекта – убеждающего воздействия. Описание инферентных процессов в научном гуманитарном дискурсе способствует раскрытию прагматического потенциала аргументации в этой важной сфере социально-коммуникативного взаимодействия.

Литература и примечания

1. Макаров, М.Л. Основы теории дискурса / М.Л. Макаров. – М.: ИТДГК «Гнозис», 2003. – 280 с.
2. Краткий словарь когнитивных терминов / под общ. ред. Е.С. Кубряковой. – М.: Филол. ф-т МГУ им. М.В. Ломоносова, 1997. – 245 с.
3. Яскевич, Я.С. Аргументация в науке / Я.С. Яскевич. – Минск: Университетское, 1992. – 143 с.
4. Термин 'импликатура' (англ. *implicature*), обозначающий особый компонент содержания высказывания, информацию, заложенную в высказывание говорящим, введен Г.П. Грайсом, который различает **конвенциональные импликатуры** (*conventional implicatures*), определяемые значением использованных слов, и коммуникативные импликатуры дискурса (*conversational implicatures*), не входящие в конвенциональное значение слов и конструкций, а выводимые с учетом конституции и с опорой на Принцип кооперации. См.: Grice, H. P. *Logic and conversation* / H. P. Grice // *Syntax and Semantics*. – Vol. 3: *Speech Acts*. – New York : Academic Press, 1975. – P. 41–58. Русский перевод: Грайс, Г.П. *Логика и речевое общение* / Г.П. Грайс // *Новое в зарубежной лингвистике*. – Вып. 16: *Лингвистическая прагматика*. – М., 1985. – С. 217–237.
5. Дроздова, Т.В. Научный текст и проблемы его понимания (на материале англоязычных экономических текстов): автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.19; 10.02.04 / Т. В. Дроздова; Ин-т языкознания РАН. – М., 2003. – 48 с.
6. Падучева, Е.В. Импликатура и инференция / Е.В. Падучева // *Динамические модели в семантике лексики*. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – С. 101–111.
7. Прохоров, А.В. Понимание рекламного текста: имплицирование информации и инферентный вывод / А.В. Прохоров // *Вестник ТГУ*. – 2008. – Выпуск 9 (65) – С. 139–144.
8. Баранов, А.Н. Лингвистическая теория аргументации (когнитивный подход): автореф. дис. ... д-ра филол. наук: 10.02.01; 10.02.19 / А. Н. Баранов; АН СССР. Ин-т рус яз. – М., 1990. – 48 с.
9. Минаков, В.Н. Дискурсивный потенциал аргументации в немецкоязычном научном тексте : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / В.Н. Минаков; Моск. гос. лингвист. ун-т. – М., 2007. – 172 с.
10. Термин 'инференции дискурса' (*conversational inferences*) вводится в: Green, G. M. *Pragmatics and Natural Language Understanding* / G.M. Green. – Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates, 1996. – P. 110.
11. Levinson, S.C. *Pragmatics* / S.C. Levinson. – London; New York: Cambridge University Press, 1983. – 420 p.

УДК 82:398.2

ЭПИТЕТЫ-КОЛОРАТИВЫ В БЫЛИННЫХ ТЕКСТАХ: СЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Т.П. Слесарева
(Витебск, Беларусь)

Эпитет является важным элементом стилистики народнопоэтического текста, одним из средств отражения мира, раскрытия образа. Наблюдения показывают, что в фольклорном эпитете сохраняется историческая семантика, а его лексико-семантическая структура отличается от структуры соответствующего прилагательного в современном литературном языке. Цветообозначения реализуют в художественных произведениях как нейтрально-номинативную, так и экспрессивно-изобразительные функции.

Термин «эпитет» является одним из самых древних и спорных терминов стилистики.

Существуют разные взгляды и на грамматическую форму эпитета, его морфологические и синтаксические характеристики, а также его функции в тексте.

В фольклоре эпитет характеризует, оценивает, индивидуализирует предмет или явление, переносит на него свое значение, участвуя в создании художественного образа. Поэтому эпитет является важным элементом стилистики народнопоэтического текста, одним из средств отражения мира, раскрытия образа.

Цвет всегда имел и имеет большое значение в жизни человека, поэтому в литературе слова-цветообозначения становятся своеобразными символами, а каждый отдельно взятый колоратив занимает своё определённое место в цветовой картине художественного произведения.

Нами проанализированы 64 былины, из которых путем сплошной выборки выписаны следующие цветové эпитеты: *белый* (339), *красный* (151), *зеленый* (101), *синий* (91), *темный* (65), *ясный* (53), *светлый* (19).

Исследования показали, что в фольклорном эпитете, как правило, сохранилась лингвистическая архаика, в частности историческая семантика: лексико-семантическая структура фольклорного эпитета отличается от структуры соответствующего прилагательного в современном литературном языке.

В современном русском литературном языке основное значение прилагательного *белый* цветové. Кроме того, историческая память слова *белый* даже у наших современников в большинстве случаев вызывает ассоциации с понятиями «чистый, радостный, светлый, торжественный, приятный, праздничный, успокаивающий» и другие.

В религии – это символ невинности, чистоты, святости, целомудренности. Он ассоциируется с дневным светом. По мнению психологов, белый – это *tabula rasa*, чистый лист, разрешение проблем и новое начало, новая страница жизни.

На долю эпитета **белый** приходится 339 словоупотреблений. Все нюансы семантики данного прилагательного – номинативные, метафорические и символические – нашли отражение в былинных текстах.

Мы отмечаем следующую лексико-семантическую структуру эпитета **белый**: 1) «украшающее» значение (*белые руки* (68), *белые груди* (58), *белое лицо* (90) и др.); 2) значение «сияющий» (*белый свет* (26), *белый камешек* (8), *белая заря* (2) и др.); 3) значение белого цвета (*белая лебедь* (33), *белое полотно* (5), *белый шелк* (8), *белый снег* (3), *белый конь* (4) и др.); 4) значение «лучший» (*белый шатер* (71) и др.).

Красный цвет был особенно популярен с древности. Считается, что он легко узнается и выделяется людьми из-за своей яркости, насыщенности. Это очень эмоциональный и символический цвет, возможно, поэтому во многих языках для обозначения красного цвета и его оттенков имеется большое количество лексем, как, например, в русском.

Частота употребления колоратива красный достаточно велика – 151 словоупотребление. Значение эпитета красный в былинах немного расходится со значением этого прилагательного в современном русском языке. Иерархия значений эпитета красный в былинных текстах примерно такова: 1) значение цвета (красное знамя (2), красный бархат (2) и др.); 2) «красивый» (красные девицы (32), красная девушка (14) и др.); 3) «хороший» (красный товар (4) и др.); 4) «парадный», «главный» (красное крыльцо (10) и др.).

Один из главных персонажей былин киевского цикла Владимир Стольнокиевский, Владимир *Красно Солнышко* (36 словоупотреблений), имеет прототипом Владимира Святославича, крестившего Русь, и былины не только зафиксировали его огромную роль в истории русского государства, но отразили и более древнее, языческое отношение к киевскому князю как наследнику языческого бога солнца Дажьдбога.

Как и в современном русском литературном языке, основное значение прилагательных **зеленый** (101) и **синий** (91) – обозначение цвета.

Так, например, с эпитетом **синий** в былинах отмечены формулы *синее море* (90 словоупотреблений) и *синий кафтан* (1).

Эпитет **зеленый** имеет значение «относящийся к растительности, состоящий, сделанный из зелени»: *зеленое вино* (74), *зеленый луг* (14), *зеленый сад* (6).

Историческая память фольклорного слова обнаруживается не только в семантических сближениях, но и в противопоставлениях, например, **ясный** (53 словоупотребления) / **светлый** (19 словоупотреблений) – **темный** (65 словоупотреблений).

Если **светлый**, **ясный** – символ благости, радости, красоты (*светлый месяц* (9), *светлая грядня* (6), *ясные очи* (22), *ясное небо*, *светлая заря*), то **темный** – символ несчастья, горя, печали (*темный лес* (23), *темная орда* (17), *темная ночь* (14), *темная темница* (6), *темная туча*).

Приведенные материалы и наблюдения показывают, насколько богато и разнообразно в русском эпосе применение эпитетов. Эпитет создает яркие зрительные образы, придает словам надлежащий вес и звучание, чтобы слова и выраженные ими образы врезались, запечатлелись. Наконец, эпитет выражает отношение народа к окружающему его миру, выражает народное мнение, его суд и оценку.

Литература

1. Малый толковый словарь русского языка. – М.: Рус. яз., 1990. – 704 с.
2. Былины. – М.: Гос. изд-во худ. лит-ры, 1958. – Т. 1.

УДК 81'252.4'246.2

ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЯЗЫКА «ЗДРАВОВОГО СМЫСЛА» И ЯЗЫКА НАУКИ И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В ЭВРИСТИЧЕСКИХ НАУЧНЫХ ТЕКСТАХ (на материале русского и английского языков)

Р.И. Стеванович
(Николаев, Украина)

В данной статье представлен сравнительный анализ научной и «наивной» картин мира в их гносеологическом аспекте, а также их отражение в эвристической мыслительной деятельности на материале русского и английского языков. В статье постулируется мысль о существовании двух уровней познания человеком окружающей действительности: обыденного и научного, приводятся теоретические и практические данные, иллюстрирующие роль донаучного познания в формировании научной картины мира.

Проблема соотношения науки и здравого смысла практически возникла в период формирования научного освоения действительности и в наше время считается «центральной проблемой философии науки» [1, 18]. Наука всё более выявляет свое практическое содержание, где она непосредственно соприкасается со здравым смыслом.

Как в истории теоретического мышления, так и на современном этапе его развития «здравый смысл» получал самые различные интерпретации и столь же различные оценки, начиная с презрительного отношения к его ценности, так Энгельс называл его «предрассудком эпохи» [2, 31], и кончая возведением его в ранг единствен-

но истинно философствования и оценки явлений. И в далеком будущем человеку суждено жить не только в мире науки, но и мире здравого смысла.

В процессе функционирования языка науки, научное знание проходит ступени от абстрактной теории и через более частные теории к прикладным отделам знания, и затем растворяется в практике. В своей практической профессиональной деятельности субъект использует конкретные результаты познавательных операций, которые выражены иными средствами языка науки [2, 46]. Научное мышление взаимодействует с ненаучным – обыденным, художественным, в период своего возник-

новения – с мифологическим, в Средние века – с религиозными. Здравый смысл в истории теоретического мышления служит предметом оживленной идеологической борьбы. В период формирования научных систем XVII–XVIII веков основным оружием против религии и идеализма служили данные здравого смысла [1, 36].

Ненаучное мышление не имеет теоретического характера. «В структуре стиля обыденного мышления выделяются два элемента: 1) устойчивые моменты повседневного опыта, профессиональной деятельности, процессов обучения и воспитания, общеизвестные научные представления; 2) используемые приемы мысли» [3, 54].

А.Ф. Лосев отмечает существование двух стилей мышления: синкретический и современный.

Синкретический стиль характеризуется слиянием идеального и чувственного. Это не учение, а символ, то есть полу-знание, полу-осознание, объективная логика вещи не отделяется от субъективной. Для современного обыденного мышления формально-логические приемы, законы являются основным инструментом мышления [5, 77].

Н.Ю. Абелян, В.В. Ким постулируют мысль, что в стиле обыденного и научного мышления есть некоторые общие элементы – это общелогические процедуры (анализ и синтез, индукция, дедукция, абстракция, обобщение) и формально-логические методы. Но в научном мышлении общелогические процедуры и методы включаются в теоретическое движение, поэтому они более продуктивны. Общим для стиля обыденного и научного мышления являются некоторые представления об окружающей действительности. Но в научном стиле мышления это отражается в категориальной системе, а в обыденном мышлении – в системе представлений, основанных на чувственном опыте [7, 55].

Понятия в обыденном мышлении отличаются от понятий в научном мышлении, в стиле обыденного мышления отсутствует понятие категориальной сетки, и поэтому понятия остаются разорванными и застывшими. Понятие, перешедшее из научного мышления в обыденное, выключается из теоретического движения и превращается в наглядное представление. Понятие же перешедшее в научное мышление из обыденного, включается в теоретическое движение от абстрактного к конкретному и приобретает более глубокое, а иногда и совершенно иное содержание.

При формировании научного мышления следует овладеть логическим мышлением. «Язык науки – специфическое знаковое образование, являющееся средством выражения и способом существования научного мышления. В языке науки закрепляется алгоритм практических и познавательных действий» [7, 55]. Язык науки имеет свою определенную структуру. В нем выделяется: 1) категориально-понятийный аппарат; 2) терминосистема; 3) средства и правила формирования понятийного аппарата и терминов.

Социально-коммуникативная функция языка осуществляется языком здравого смысла. Любая научная теория нуждается в переводе на обыденный язык. В. Гейзенберг писал: «Сам физик может довольствоваться математическими схемами, но ведь он должен говорить о своих результатах и не физикам. Значит, нужен естественный язык» [8, 140].

Очевидно, что у Гейзенберга под естественным языком понимается язык здравого смысла.

Луи де Бройль утверждает, что обычный язык является языком индукции. Именно смелые индукции и оригинальные представления являются источником великого прогресса науки [9, 327].

Язык здравого смысла был первой языковой картиной мира. Генетически наука исходила из опыта, веками накопленного здравым смыслом, так и из его языковых возможностей. Нарождающаяся наука рассматривала критерий истинности чуть ли не в соответствии здравому смыслу. Наука стала искать и ценить парадоксы на пути к истине. Так возникающие в процессе мышления «сумасшедшие идеи» получали высокую оценку. Эти новаторские, смелые идеи означали не безумие автора предлагаемой идеи, а свидетельствовали о новаторстве автора, столкновении старых традиций с новыми.

Подтверждением этому следуют выдержки из текстов, посвященных эвристическому научному творчеству, взятые из английской научной литературы. *“Mad as a hatter” is a term of high praise when applied to a person of marked intellectual abilities. But “divine madness” that the Greeks considered a gift of the God* [10, 73]. «Сумасшедший» – это слово высокой похвалы применительно к человеку с исключительными интеллектуальными способностями, но это «божественное сумасшествие греки считали даром Богов».

“Crazy idea”, “wild idea” – «сумасшедшая идея» часто проскальзывают в английской литературе, связанной с научным творчеством. В научных текстах иногда приводятся данные из биографии известных ученых, философов, их творческой деятельности.

Socrates although regarded as crazy by his contemporaries developed novel ideas [11, 62]. «Хотя современники считали Сократа сумасшедшим, он развил новаторские идеи». Немаловажно также обратное течение – переход от «сумасшедшего» к повседневному. Даже в погоне за «сумасшедшим» наука исходит из понятий и принципов здравого смысла как некоторого уровня обобщения опыта.

Независимо от того, как рассматривают теоретически ученые соотношение научного и обыденного языков, практически человечество давно различает экзотерическое (общедоступное) и эзотерическое (понятное только посвященным) значения слова. Не случайно в словарях в первую очередь указывают экзотерическое значение слова, то есть значение слова в системе языка здравого смысла. Наука каждой эпохи в некоторой мере находится под воздействием здравого смысла данного времени. Ученый живет не только в мире научных понятий, но и в мире понятий здравого смысла. Не только наука влияет на здравый смысл данной эпохи, но и здравый смысл в некоторой мере обуславливает развитие науки. Развитие здравого смысла – органический элемент развития познания и цивилизации вообще. Наука не может служить человеку иначе, как приобретая практическую форму. В познавательном плане этот процесс выступает как усвоение здравым смыслом содержания науки как перевод разума на язык здравого смысла.

Научное мышление не раз убеждалось в том, что повседневный язык является главным носителем духовного богатства многовековой цивилизации.

В эвристических научных текстах широко используется язык здравого смысла, основанный на аналогии, который характеризуется яркой метафоричностью. Метафора – разновидность аналогии, а аналогия – один из основных способов мышления, существенный компонент любой научной теоретической деятельности. Метафора в науке связана с понятием научной картины

мира. Метафора создает новые понятия и вместе с ними расширяет мировоззрение человека. Первые научные понятия были метафоричны. Когда наука требует нужных слов и выражений для закрепления интеллектуальных догадок, а создатели новых представлений стремились довести их до сведения общества, рождались яркие метафорические образы. В научных текстах на английском языке образные представления выражаются словосочетаниями, предложениями, а также семантическими контактами слов, например, *the magic key to solve the problem* – «магический ключ решения проблемы», *a flash through mind* – «проблеск ума», *to welcome a new idea* – «приветствовать новую идею», *idea comes like a foreign guest* – «идея приходит как чужестранец».

Самым заметным недостатком здравого смысла является его неотточенность, многозначность, но в то же время полисемия языка компенсируется разнообразием и богатством возможностей для маневрирования мышления. И, наоборот, по мере развития точности язык в некотором смысле теряет свою гибкость и эластичность. Живая человеческая практическая деятельность нуждается не только в точных, но и в неточных знаниях, не только в количественных, но и в качественных характеристиках.

Простому смертному нужно знать не только точную температуру, но и далеко не точные, казалось бы даже субъективные характеристики, как «холодно», «жарко». В творческой мыслительной деятельности также проявляется характеристика «горячо-холодно», которая связана с методом решения творческих задач, который носит название – «метод анализа целей и средств», на английский язык он переводится как *means-end analysis*. Практически это выглядит так. Человек анализирует задачу и видит, что у него нет средств превратить данные условия в искомое решение. Тогда он смотрит, нельзя ли уменьшить разрыв между условиями и требованиями. Найдя способ это сделать, снова сравнивает ситуацию, которая получилась в результате его действий с конечной целью и ищет средства перевести новый вариант задачи в желаемое решение и так много раз. Этот метод напоминает детскую игру в «горячо-холодно». Ведь тогда мы тоже ищем цель постепенно, проверяя, ближе мы стали к ней, то есть «теплее» или отдалились и теперь нам «холодно» [2, 211].

Понятие количества в интерпретации здравого смысла опредмечивается в природных явлениях, психологизируется, оценивается как несчетное. Примером служат выражения на английском языке, связанные с творческой мыслительной деятельностью: *flood of ideas* – «поток идей», *sea of words* – «море слов», *popula-*

tion of solutions – «население решений», *world of data* – «мир данных». Человек пытается их упорядочить и дает им свои имена: *bundle of ideas* – «пучок идей», *a heap of solutions* – «горстка решений», *a pile of problems* – «куча проблем». Минимальные размеры в ментальной сфере опредмечиваются как «зерно» – *grain*, «кусочек» – *bit*, «капля» – *drop*. Например, *to find grains of significance* – «найти зерна важности», *a grain of discovery* – «зернышко открытия», *a bit of solution* – «кусочек решения», *a drop of idea* – «капля идеи». Слова, обозначающие границы и предел, способны выражать идею интенсивности или максимальности. Интенсификаторами выступают слова: *awful*, *terrible*, *extremely*. Например, *extremely creative* – «исключительно творческий», *awfully difficult* – «ужасно трудный», *terribly unknown problem* – «совершенно неясная проблема». Интенсивным может быть не только представление, но и отношение к нему, которое передается специальными экспрессивными средствами, придающими речи эмоциональный и стилистический оттенок. Интенсификация часто сопровождается гиперболизацией: *extremely pedestrian thinking* – «исключительно медленное мышление», *gigantic problem* – «гигантская проблема», *fact become magnified into importance* – «факт приобрел важность».

«Здравый смысл» интересует не истина как таковая, а как чисто познавательная ценность – истина как знание вообще, которое призвано служить, прежде всего, практическим требованиям человека. Невысокий уровень абстрагирования в языке здравого смысла компенсируется иной познавательной ценностью, а именно непосредственной предметностью и наглядностью.

Основной мыслительной формой наглядности является представление. Представление не есть лишь «хранитель» чувственных данных: оно в большей степени черпает свое содержание из рационального уровня познания. Существует переход не только от представления к понятию, но и от понятия к представлению.

Многочисленные свидетельства творцов современной науки о роли наглядных представлений даже в самых абстрактных областях познания подтверждают огромную эвристическую ценность наглядности в научном творчестве.

Обобщая сравнения обыденного и научного мышлений, следует отметить, что они имеют много сходств и различий. Научное и обыденное мышление отражают изменения в обществе, культуре, политике, поэтому, в течение многих веков они не только противостояли, но и влияли друг на друга.

«Здравый смысл» является мощным орудием описания научного творчества.

Литература

1. Шакарян, Г.Г. Язык здравого смысла и язык науки / Г.Г. Шакарян // Методологические проблемы анализа языка. – Ереван, 1976. – С. 18–39.
2. Медведева, О.Ю. Особенности функционирования языка науки / О.Ю. Медведева // Семантические аспекты научного познания. – Свердловск, 1981. – С. 31–55.
3. Здесь же, с. 46.
4. Здесь же, с. 54.
5. Лосев А.Ф. История античной эстетики / А.Ф. Лосев. – М.: Наука, 1963. – 420 с.
6. Абелян, Н.Ю. Стиль научного мышления и язык науки / Н.Ю. Абелян, В.В. Ким // Семантические аспекты научного познания. – Свердловск, 1981. – С. 47–55.
7. Здесь же, с. 55.
8. Гейзенберг, В.В. Физика и философия / В.В. Гейзенберг. – М., 1963. – 154 с.
9. Бройль, Л. де / По тропам науки / Л. де Бройль. – М.: Наука, 1962. – 425 с.
10. Barron, F. Creative person and creative process / F. Barron. – NY., Holt, 1969. – 136 p.
11. Vernon, P.E. Creativity / P.E. Vernon. – United Kingdom, 1964. – 326 p.
12. Сапарина Е. «Ага!» и его секреты / Е. Сапарина. – М.: Молодая гвардия, 1967. – 225 с.

В.К. Щербин
(Минск, Беларусь)

В докладе рассматривается феномен дисциплинарного романа (археологического, исторического, культурологического, медицинского, политического, психологического, социологического, философского, экономического и др.), как одного из жанров научно-художественной литературы. Жанровые особенности дисциплинарного романа раскрываются на материале социологических романов А.А. Зиновьева, Л.Г. Матрос и Ж.М. Грищенко. Обосновывается вывод о том, что использование жанра дисциплинарного романа, наряду с реализацией чисто художественных функций, способствует решению сугубо научных задач: 1) осуществлению популяризации научных знаний и 2) формированию позитивного образа научной дисциплины в массовом общественном сознании.

Средства художественной литературы используются для описания достижений, проблем и прочих реалий научной жизни уже не одно столетие. Из истории мировой литературы широко известны такие научно-художественные произведения, как философская поэма Тита Лукреция Кара (ок. 98–55 гг. до н. э.) «О природе вещей», стихотворения М.В. Ломоносова (1711–1765) «Ода на день восшествия ... Елисаветы» и «Письмо о пользе стекла» (1747), археологический роман Жана Жака Бартеlemi (1716–1795) «Младший Анахарсис» (1788), футурологические романы Жюль Верна (1823–1905) «Путешествие к центру Земли» (1864), «С Земли на Луну» (1865), «Двадцать тысяч льё под водой» (1870) и др. Еще в 1968 году научно-художественная литература определялась в «Краткой литературной энциклопедии» как «особый род художественной литературы, рассказывающей о науке и научных исканиях. Возникнув на стыках художественной, документальной и научно-популярной литературы, научно-художественная литература развилась к настоящему времени в большую самостоятельную область, вызывающую значительный читательский интерес. Если научно-популярная литература сосредоточивает внимание на чисто познавательных и учебно-педагогических задачах, то научно-художественная литература преимущественно обращается к человеческой стороне науки, к духовному облику ее творцов, к психологии научного творчества, к философским предпосылкам и последствиям научных открытий. Поэтому произведения научно-художественной литературы обладают не только познавательной, но и эстетической ценностью, увлекают читателя романтической поисков, изображением мощи познающего разума, безграничностью перспектив, открывающихся перед мыслящим человечеством» [18, 143].

За почти полвека, минувшие с момента создания данного определения научно-художественной литературы, содержание последней существенно изменилась как в количественном, так и в качественном отношении. Сегодня специалисты, изучающие феномен научно-художественной литературы, уже вряд ли согласятся со словами автора вышеприведенного определения о том, что «термин «научно-художественная литература» не обладает четкой жанровой определенностью. В сферу его действия попадают вещи разного плана – публицистика, проблемный очерк, документальное повествование, воспоминания, биография, исторический рассказ, путевой дневник» [18, 144–145].

В настоящее время термин «научно-художественная литература» обозначает строго дифференцированную в жанровом отношении совокупность литературных произведений, среди которых немаловажную роль играет дисциплинарный роман. Причем в отличие от традици-

онных романов жанров (авантюрного, античного, детективного, пасторального, плутовского, приключенческого, психологического, реалистического, рыцарского, сентиментального, социального, средневекового, эпистолярного и др.), которые отличаются друг от друга и по форме, и по содержанию, дисциплинарные романы дифференцируются между собой, прежде всего, тематически, т. е. своей принадлежностью к той или иной области научных знаний. Хотя, как показало наше исследование, проведенное на материале социологических романов А.А. Зиновьева, Л.Г. Матрос и Ж.М. Грищенко, отдельные разновидности дисциплинарного романа имеют и свои весьма специфические формальные отличия, обусловленные теми задачами, которые решались авторами романов в процессе их написания. Анализу сложной системы взаимосвязей, существующих между сугубо научными задачами социологических романов (популяризация научных знаний и формирование позитивного образа социологии) и художественными способами их решения, и посвящается наш доклад.

Основателем жанра социологического романа как отечественными исследователями (В. Большаков, А. Гусейнов, К. Кантор, Е. Комовская, О. Ларин, В. Луков, А. Фурсов и др.), так и зарубежными (М. Кирквуд, А. Макмиллин, К. Местр, Л. Суханек, Ф. Хансон и др.) по праву считается известный российский логик и социальный философ Александр Зиновьев, издавший в 1976 году первый в мировой литературе социологический роман «Зияющие высоты». Всего же в жанре социологического романа им опубликовано около 20 произведений: «Светлое будущее» (1978), «В преддверии рая» (1979), «Желтый дом» (1980), «Гомо советикус», «Пара беллум», «Мой дом – моя чужбина», «Евангелие для Ивана» (1982), «Иди на Голгофу» (1985) и др. Отличия сформированного им жанра социологического романа от традиционных романов сам А. Зиновьев видел в том, что возможности нового жанра адаптированы им для изложения социологических идей в художественной форме: «Средства литературы используются мною для выражения научных понятий, гипотез, теорий. С точки зрения формы я рассматриваю свои книги как синтетические в смысле использования самых различных литературных феноменов в одном и том же произведении – прозы, стихов, научных эссе, памфлетов, шуток, сатиры, трагедии, фантастики, очерков и т. п. Поэтому критики не могут найти мне подходящее место в привычных классификациях. Чаще мои книги относят к сатире. Это верно лишь отчасти. Я считаю мои книги социологическими романами» [9, 311].

В другой своей книге – романе «Русский эксперимент» – А.А. Зиновьев так охарактеризовал её жанровые характеристики: «Эта книга – роман, но роман особого

рода: социологический. Не социальный, какими являются почти все мало-мальски приличные романы художественной литературы, а именно социологический. Он отличается от привычного романа как по предмету внимания, так и по средствам его изображения. Предметом его являются феномены человеческого общества как таковые и социальные законы, а конкретные люди и события фигурируют лишь постольку, поскольку через них проявляются упомянутые феномены и законы» [10, 5]. В частности, уже в романе «Зияющие высоты» в качестве действующих персонажей выступали не конкретные образы людей, а персонифицированные социальные категории: Академик, Болтун, Заведующий, Инструктор, Интеллигент, Каторжник, Клеветник, Корреспондент, Курортник, Лидер, Литератор, Мазила, Мыслитель, Паникер, Патриот, Певец, Правдец, Претендент, Распашонка, Секретарь, Служивец, Сотрудник, Социолог, Стукач, Уклонист, Хозяин, Хряк, Художник, Шизофреник и др. И хотя каждый из действующих персонажей в романе имеет одну и ту же фамилию Ибанов, спутать эти персонажи между собой невозможно, поскольку поступки и слова таких персонажей строго соответствуют поведенческим характеристикам тех социальных категорий людей, представителями которых в романе эти персонажи выступают.

Новаторский подход А.А. Зиновьева к описанию героев романа «Зияющие высоты» отмечали и зарубежные исследователи. В частности, профессор Ягеллонского университета Люциан Суханек писал по этому поводу следующее: «В «Зияющих высотах» выступает целая галерея персонажей, которые различаются по своему месту в произведении и своим функциям. Их «персональные данные», как правило, скупы, биографии фрагментарны, эмоции и желания не проявляются ярко. Это не личности в психологическом понимании – все они лишь иллюстрируют и высказывают социологические идеи. Это маски, полуидеи-полулюди, которые должны сообщать знания о мире. Положительные персонажи здесь редкость: среди них есть резонеры, такие, как Болтун, Клеветник, Шизофреник. Их тексты и высказывания – некие научные и публицистические рефлексии на тему Ибанска, его жителей и действующей в нем системы» [22, 196]. Другой критик романа «Зияющие высоты», Наталия Рубинштейн, в качестве основного новаторского приема его автора рассматривает то, что «Зиновьев предпочел плоские и контурные, обозначенные лишь идейной и моральной позицией фигуры. Для него абстракция от характерологических черт персонажа есть такое же неперемное условие правды о человеке, как абстракция от конкретных подробностей множества случаев есть условие формулирования социального закона» [19, 152].

Казалось бы, невозможно создать хороший роман, если его главные герои не персонифицированы, ведь «именно через главных героев автор озвучивает свою позицию» [17, 6]. Однако, если учесть, что до своей вынужденной эмиграции в Германию в 1978 году А.А. Зиновьев был одним из лучших советских логиков и социальных философов, опубликовавших такие известные в научном мире монографии, как «Философские проблемы многозначной логики» (1960), «Логика высказываний и теория вывода» (1962), «Основы научной теории научных знаний» (1967), «Комплексная логика» (1970), «Логика науки» (1972) и «Логическая физика» (1972): за первые три из этих работ А.А. Зиновьев был избран членом Академии наук Финляндии в 1968

году, то становится понятным, что основная сила романа «Зияющие высоты» заключается не в его схематически очерченных персонажах, а в том богатейшем комплексе выстраданных писателем социологических идей, теорий и обобщений, которые вложены в уста этих персонажей: «Все книги Зиновьева сплошь состоят из диалогов, в которых ценны высказанные мысли – сами по себе. Не важно, кто их произносит. Все это – мысли одного и того же автора, смотрящего на мир с разных точек зрения» [16, 186].

Осознавал основную силу своего романа и сам писатель: «Я создал в литературе свой жанр – социологический роман... Когда были изданы мои «Зияющие высоты», на Западе писали, что я, как метеор, вырвался на высоты мировой литературы. А вырвался я только потому, что пришел я не из литературы. В официальной литературе – и в советской, и в западной – меня просто бы не пропустили, а я обошел все преграды. Я пришел в литературу из науки. Я писал как человек, который разработал собственную научную теорию современности – и коммунизма, и западнизма» [14, 69].

Указанные выше качества «социологического» романа А.А. Зиновьева привлекли к нему внимание не только зарубежных исследователей, но и отечественных социологов. Со временем в их среде появились искренние почитатели данного романного жанра. Одним из таких литературных преемников А.А. Зиновьева стала российский социолог медицины Лариса Матрос. Подобно А.А. Зиновьеву, она не только опубликовала в 1970-1990-е годы ряд научных монографий [11], [13], но и выпустила в Нью-Йорке социологический роман «Презумпция виновности» (2000) о жизни социологов Новосибирского Академгородка. И хотя творческая биография Л.Г. Матрос во многом напоминает жизненный путь А.А. Зиновьева (успешная исследовательская работа в Академии наук в застойные годы, затем эмиграция в США и попытки получить широкую известность и весомые гонорары на Западе благодаря изданию социологических романов), повторить литературный успех автора «Зияющих высот» ей не удалось, несмотря на широкое использование в своем романе зиновьевского литературного метода – «смешения всех известных жанров и стилей, философских размышлений и раешника, логического анализа и анекдотов» [1, 168]. Не обладая, в отличие от А.А. Зиновьева, огромным арсеналом собственных социологических идей, теорий и наблюдений, Л.Г. Матрос вынуждена была вкладывать в уста персонажей своего социологического романа достаточно банальные советские анекдоты, тривиальные газетные штампы и бесконечные цитаты из публичных выступлений «прорабов перестройки» (М. Горбачева, Б. Ельцина, А. Яковлева, А. Собчака, Г. Попова, А. Руцкого, М. Ростроповича, И. Клямкина, В. Молчанова, А. Ципко и др.), что не способствовало росту популярности ее романа среди зарубежных и отечественных читателей.

В настоящее время имеются литературные последователи А.А. Зиновьева и в Беларуси. В частности, наиболее продуктивно в жанре социологического романа сегодня работает доцент кафедры социологии БГУ Жанна Грищенко, опубликовавшая на протяжении последних семи лет два объемных литературно-художественных произведения о представителях университетской социологии. Причем, если первое из этих произведений – «Социология жизни, или Жизнь в социологии» (2007) – по своему жанру «это мемуары, написанные интересной зрелой женщиной, вполне

компетентным исследователем, обладающим соответствующей ученой степенью» [3, 1], то второе произведение – книга «Время абсента» (2014) – относится к жанру социологического романа.

С социологическими романами А.А. Зиновьева и Л.Г. Матрос книгу «Время абсента» объединяет, во-первых, ее автобиографичность: автор описывает лишь те события из жизни белорусских и зарубежных социологов, непосредственным участником которых ей довелось быть лично; во-вторых, ее социологичность: в содержании элитного женского романа Ж.М. Грищенко широко представлены феномены и понятия социологической науки (например, названия и дефиниции отраслевых социологических теорий среднего уровня: независимая социология, политическая социология, понимающая социология, «придворная социология», социология бизнеса, феноменологическая социология, честная социология), а также ее термины, номены и профессионализмы («схватить» поле и передать данные, проект «Пипл-метрия», сеть шла на сеть, схватить эмпирику, метод точкирования при обработке результатов поля и др.). Отдельным критикам романа «Время абсента» порою даже кажется, что он «перегружен научной терминологией», хотя это не рассматривается ими в качестве недостатка: «ведь события происходят в научной среде, на фоне активно развивающейся социологической науки» [7, 7].

В то же время роман «Время абсента» Ж.М. Грищенко отличается от социологических романов российских авторов своими более широкими жанровыми характеристиками. Наряду с отмеченными выше элементами автобиографического и социологического романов, в данной книге представлены также черты гендерного, социального, политического и философского романов. К примеру, созданию в книге «Время абсента» художественного мира социального романа помогает наличие в ней целого ряда атрибутов, обязательных для произведения данного жанра:

1) присутствие в романе «Время абсента» сквозного сюжета, связывающего между собой поступки главных действующих героев (социологов Валерии, Ольги и Натальи). Для сравнения: в социологическом романе «Зияющие высоты», по признанию А.А. Зиновьева, «сюжет в обычном смысле слова играл роль весьма второстепенную» [8, 258];

2) высокий уровень художественной типизации в романе Ж.М. Грищенко явлений белорусской действительности начала 1990-х годов. Как справедливо заметила российский литературовед Е. Комовская, «художественный мир социального романа хотя и наполняют вымышленные события и персонажи, но они соотносимы с реальной действительностью» [12, 107–108];

3) состоявшийся переход от научного, научно-популярного и отчасти публицистического стилей изложения текстового материала в более ранних научных и учебных изданиях Ж.М. Грищенко [4], [5], [6] к более комплексному и многофункциональному стилю художественной литературы в романе «Время абсента». Можно привести даже количественные подсчеты, свидетельствующие о таких стилевых изменениях. К примеру, если в книге научных мемуаров «Социология жизни, или Жизнь в социологии» ее автор использовала названия почти двух десятков отраслевых социологических теорий среднего уровня, в

том числе даже такие редкоупотребительные названия, как демократическая социология, социология любви и др., то в своем социальном романе Ж.М. Грищенко ограничилась употреблением лишь нескольких таких названий, причем отдельные из них имеют не научный, а оценочный статус («придворная социология», честная социология). Далее, только насущной необходимостью создания речевой характеристики отдельных литературных персонажей можно объяснить появление в тексте элитного женского романа случаев использования вульгарной и обценной лексики.

Наконец, следует особо отметить приоритет автора романа «Время абсента» в разработке новых форм популяризации науки и продуцируемых ею достоверных социальных знаний. Возможно, роман Ж.М. Грищенко и уступает социологическим романам А.А. Зиновьева по богатству обсуждаемых в них социальных идей и теорий. Однако то, в чем книга Ж.М. Грищенко, безусловно, превосходит сатирические творения первооткрывателя формы социологического романа, так это удивительная жанровая полифония элитного женского романа, вобравшего в себя характерные черты социологического, автобиографического, гендерного, социального, политического и философского романов. Именно это многообразие используемых в романе «Время абсента» жанровых кодов позволило его автору создать достаточно притягательный образ отечественной университетской социологии. Знакомство читателей с подобным образом, считает С.П. Чернозуб, «обеспечивает, как минимум, взаимопонимание непосредственно заинтересованных в развитии науки как социального института, а иногда и способствует тому, что общество начинает воспринимать ее интересы с симпатией и участием. Иначе говоря, «образ» как фактор самоорганизации выражает «национальную мечту» о науке» [23, 142].

Таким образом, рассмотренные нами попытки социологов А.А. Зиновьева, Л.Г. Матрос и Ж.М. Грищенко решить посредством использования жанра социологического романа ряд сугубо научных задач (осуществить популяризацию своих социологических идей и сформировать позитивный образ социологии в массовом общественном сознании) подтверждают обоснованность вывода о том, что «и в научном, педагогическом плане современная социология выходит на этап активного использования образов художественной литературы» [2, 36]. Более того, если учесть экспертные данные о количестве существующих в настоящее время научных дисциплин (до 72 тысяч названий [15, 83]), можно смело прогнозировать дальнейшее усиление позиций дисциплинарного романа в рамках научно-художественной литературы. По мнению И.С. Скоропановой, «за счет гибридации с наукой литература наращивает свой интеллектуальный потенциал, формирует новые параметры человеческого сознания» [20, 55]. Возможно, именно отраслевой, дисциплинарный роман станет в будущем главным спасением для художественной литературы в целом, поскольку, по справедливому замечанию выдающегося философа современности, академика РАН В.С. Степина, «образы подлинного искусства – это не только эмоции, это сплав эмоционального и рационального, чувства и смысла, реальности и идеала. Сегодня приходится вспоминать эти аксиомы перед мутным потоком суррогатного квазиискусства» [21, 482].

Литература

1. Геллер, М. Тоска по зоне / М. Геллер // Феномен Зиновьева. – М.: Изд-во «Современные тетради», 2002. – С. 167–174.
2. Григорьев, С.И. Соотношение категориального словесно-логического и идейно-образного видов мышления в деятельности социологов / С.И. Григорьев // Социальные исследования. – 2012. – № 1. – С. 27–36.

3. Грицанов, А. Противоестественный отбор / А. Грицанов // Наше мнение [Электронный ресурс]. – Режим доступа: nptn.by.livejournal.com/31348. – Дата доступа: 22.10.2007 г.
4. Грищенко, Ж.М. Личность в соревновании: Социолог исследует проблему / Ж.М. Грищенко. – Мн.: Изд-во «Университетское», 1986. – 111 с.
5. Грищенко, Ж.М. Социология жизни, или Жизнь в социологии / Ж.М. Грищенко. – Мн.: Изд-во «Четыре четверти», 2007. – 256 с.
6. Данилов, А.Н. Социология политики: пособие / А.Н. Данилов, / Ж.М. Грищенко. – Мн.: БГУ, 2013. – 183 с.
7. Данилов, А. Это наша с тобой биография / А. Данилов // СБ: Беларусь сегодня. – 2015. – 24 февраля. – С. 7.
8. Зиновьев, А.А. Русская судьба. Исповедь отщепенца (1988) / А.А. Зиновьев // Электронный ресурс: www.zinoviev.ru>rus/text.sudba.pdf. – Дата доступа: 05.01.2015 г.
9. Зиновьев, А.А. Зияющие высоты. – Кн. 2 / А.А. Зиновьев. – М.: ПИК. Независимое издательство, 1990. – 317 с.
10. Зиновьев, А.А. Русский эксперимент: Роман / А.А. Зиновьев. – М.: Наш дом, 1995. – 448 с.
11. Казначеев, В.П. Право на здоровье (Здравоохранение общества развитого социализма) / В.П. Казначеев, Л.Г. Матрос. – М.: «Знание», 1979. – 96 с.
12. Комовская, Е. «Социологический роман» как жанровая разновидность романа / Е. Комовская // Известия Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена. – 2011. – № 132. – С. 103–108.
13. Матрос, Л.Г. Социальные аспекты проблемы здоровья / Л.Г. Матрос. – Новосибирск: ВО «Наука». Сибирская издательская фирма, 1992. – 159 с.
14. Цит. по: Митрохин, Л.Н. О феномене Зиновьева / Л.Н. Митрохин // Вопросы философии. – 2007. - № 4. – С. 62–84.
15. Переслегин, С. «Дикие карты» будущего. Форс-мажор для человечества / С. Переслегин, Е. Переслегина. – М.: Алгоритм, 2015. – 480 с.
16. Пономарев, Е. Homo postsovieticus. Творчество Александра Зиновьева вчера и сегодня / Е. Пономарев // Феномен Зиновьева. – М.: Изд-во «Современные тетради», 2002. – С. 186–194.
17. Производственный роман // Энциклопедия К2. – С. 1–7 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.proza.ru/2013/12/19/1763. – Дата доступа: 04.03.2015 г.
18. Ревич, В.А. Научно-художественная литература / В.А. Ревич // Краткая литературная энциклопедия. – Т. 5. – М.: Издательство «Советская Энциклопедия», 1968. – С. 143–145.
19. Рубинштейн, Н. Сказание о земле Ибанской / Н. Рубинштейн // Время и мы (Нью-Йорк). – 1977. – № 16. – С. 143–161.
20. Скоропанова, И.С. Русская постмодернистская литература: новая философия, новый язык / И.С. Скоропанова. – СПб.: Невский Простор, 2001. – 416 с.
21. Степин, В.С. Философия и музыка (памяти Е.А. Глебова) / В.С. Степин // Синтез философии, науки, культуры. К 80-летию академика В.С. Стёпина. – Мн.: БГУ, 2014. – С. 479–483.
22. Суханек, Л. Метафора системы. О романе «Зияющие высоты» Александра Зиновьева / Л. Суханек // Десять лучших русских романов XX века: Сб. статей. – М.: Луч, 2004. – С. 182–201.
23. Чернозуб, С.П. Образ науки как фактор самоорганизации научного сообщества / С.П. Чернозуб // Общественные науки и современность. – 2007. – № 6. – С. 140–147.